

КОСТЁР

131 / 301 24/4



ЛЕНИНГРАДУ В ДЕНЬ КРАСНОЙ АРМИИ

Ты — город славы, Ленинград,
И чести боевой.
Два острия твоих горят
Высоко над Невой.

Для флота создана река,
А улицу твою
Пройдут несметные войска
В развернутом строю.

Ты, как петровская скала,
Стоишь непоколебим.
Змея в пыли изнемогла
Под всадником твоим.

Я вижу серый твой вокзал,
Где речь с броневика
Владимир Ленин нам сказал
И повернул века.

В день Красной Армии к тебе
Мы обращаем взгляд.
Ведь родилась она в борьбе
За город Ленинград.

В борьбе с неистовым врагом,
Который и теперь
Хотел ползком и напролом
В твою ворваться дверь.

Когда же ты остановил
Его бездушный шаг,
Своим кольцом тебя сдвил
Холодный, скользкий враг.

И каждый день в урочный час
Грозил его снаряд
Всеми, что дорого для нас
В тебе, мой Ленинград.

Ребенка не кормила мать,
Мороз входил в дома,
Но не могла тебя сломить
Голодная зима.

И вот из вражьего кольца
Мы выбили звено,
И знаем — скоро до конца
Рассыплется оно.

Домой от ленинградских стен
Убийца не уйдет.
Его погибель или плен
Под Ленинградом ждет.

В день Красной Армии к тебе,
Отважный Ленинград,
Страна, окрепшая в борьбе,
Свой обращает взгляд.

С. Маршак

29

41

КОСТЁР

2

ФЕВРАЛЬ

ЖУРНАЛ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ★ ЦК ВЛКСМ ★ 1943 ★ ГОД ИЗДАНИЯ СЕДЬМОЙ



ПОСЛЕ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ

Над Шлиссельбургом вновь развевается алое знамя



НЕВИДИМКА



С. Хмельницкий, С. Полоцкий, В. Воеводин

Рис. В. Конашевича

ОДИН ПРЕСЛЕДУЕТ МНОГИХ

■ (Продолжение *)

Сергей не увидел пламени. Опрометью отскочив за угол, он только видел как, точно при вспышке магния, озарились школьные стены, услышал топот за своей спиной, брань, крики, чье-то тяжелое дыхание, и все заглушил грохот взрыва и звон разбитого стекла...

Через несколько минут Сережа, запыхавшийся, радостный, гордый, стоял в городском саду и любовался заревом, пламеневшим над стоянкой грузовиков на школьном дворе.

Досадно было только то, что никто не видел его в минуту подвига. Особенно жаль, что Шура... А рассказать ей — ни за что не поверит, только начнутся насмешки... Всегда она так...

Сережа обиженно поджал губы. Но сейчас же он представил себе Шуру, хрипло дышащую, с трудом передвигающуюся по комнате, представил себе и окровавленное лицо Василия Тихоновича.

Сережа нахмурился, порывисто вздохнул и бросился бежать к дому Василия Тихоновича. Но в это время он услышал крик.

Кричала на улице женщина. Платок, которым она была повязана, съехал на бок, волосы растрепались. Коротконогий, плотный немец рвал у нее из рук сверток. Женщина вцепилась в сверток обеими руками и кричала. Наконец, солдат ударил ее сапогом в живот, вырвал сверток и быстро зашагал по панели.

— Ну, погодите, гады! — прошептал Сережа, сжимая свои невидимые никому кулаки...

Ефрейтор Шпюльбюрсте и двое солдат стояли на крыльце городского музея, превращенного в казарму, и смотрели на пожар, когда их внезапно отбросило друг от друга. Дверь музея на их глазах открылась и опять закрылась..., как будто от порывов ветра, и тотчас же за дверью в коридоре послышались торопливые удаляющиеся шаги. Ефрейтор, открыв дверь, заглянул в коридор, но он был пуст.

В это время в одной из комнат музея солдат Рудольф Кнаус, сбросив мраморный бюст с подставки и положив на нее колбасу, вырванную им на улице у местной жительницы, собиравшая позавтракать и угостить товарищей. Кнаус вытащил нож, причмокнул, подмигнул солдатам и приготовился резать свою добычу... Как вдруг дверь приотворилась (как будто от сквозного ветра), колбаса поднялась на воздух, а затем быстро стала уменьшаться и, наконец, совсем исчезла.

Нож вырвался из рук ошеломленного солдата, полоснул его по носу, на котором выступила капля крови, и вылетел в окно, разбив стекло. Затем дверь захлопнулась и кто-то пробежал по коридору.

Часа через два, на глазах у немецкого часового, уголек, поднявшийся с панели, сам вывел на стене Дома культуры, превращенного в комендатуру, надпись:

*«Прежде здесь была культура,
А теперь — комендатура».*

Перепуганный часовой выстрелил в воздух. Прибежавший на выстрел майор фон-Швиммель, — длинный, тощий, белобрысый ариец с оловянными глазами, — уже прицелился было в прохожего, остановившегося, чтобы прочитать надпись, как вдруг автоматический револьвер вырвался из рук майора, описал в воздухе петлю и с размаху ударил своего хозяина в висок — раз и другой.

Майор фон-Швиммель покачнулся и упал. А револьвер поплыл по воздуху и исчез за углом.

С большим трудом майор, промокший в талом снегу, поднялся, стараясь сообразить — действительно ли произошло с ним такое невероятное происшествие или это был страшный сон.

*) Начало см. „Костер“ № 1.

Он схватился за кобуру, надеясь там нащупать револьвер, но кобура оказалась пуста. Он потер себе лоб, чтобы собраться с мыслями, и вскрикнул от боли. Все это доказывало майору фон-Швиммелю, что сон его происходил наяву.

Майор вскочил на ноги, решив, что он обязан обо всем сейчас же доложить генералу.

Фон-Швиммель, перепачканный и избитый, стоял в смущении перед дверью кабинета и не решался постучать, когда дверь открылась сама.

Майор увидал прямо перед собой генерала, который сидел за столом, окруженный всем своим штабом. Генерал сердито смотрел на майора и кричал:

— Что это значит? Прошу объясниться.

Перепуганный майор вытянул руки по швам, застыл у порога. Но генерал не видел майора. Уставившись в пространство, он кричал:

— Позор, господа! Я не допущу в армии таких разговоров. Зарубите себе на носу, — невидимок в природе не существует!

— Однако, господин генерал, — возразил сидевший напротив полковник, — ефрейтор Шпюльбюрсте сам слышал, как кто-то шагал по коридору, но при всем желании не мог увидеть человека.

— Пошлите ефрейтора на гауптвахту, — сказал генерал. — Если это не обострит его зрения, то по крайней мере укрепит его нервы. Раз были слышны шаги, значит — был человек, а раз был человек, то почему он не арестован?

— И все-таки, — поднялся со своего места капитан, — нельзя отрицать, что колбаса, которой собрался позавтракать солдат Кнауэ, была вырвана у него из рук. С этой минуты солдат Кнауэ совершенно потерял аппетит.

— Бабы сказки, — сердито сказал генерал, как вдруг заметил фон-Швиммеля, стоявшего на вытяжке у дверей.

— Ага, — воскликнул генерал, — я вижу майора фон-Швиммеля. Вот настоящий солдат. Он не станет повторять глупых бредней. Подойдите сюда, фон-Швиммель. Берите с него пример, господа.

По мере того, однако, как фон-Швиммель приближался к столу, — одобрение на лице генерала сменялось негодованием.

— Что с вами, майор? В каком вы ужасном виде! С кем вы подрались?

Майор фон-Швиммель тяжело вздохнул, и, заикаясь от волнения, ответил:

— С невидимкой, господин генерал.

Генерал откинулся на спинку стула, высоко



Револьвер поплыл по воздуху...

подняв брови. В это мгновение из темного угла показался до тех пор неподвижно и скромно сидевший там пожилой человек в крахмальном воротничке, с седыми, подстриженными ежиком волосами. В руке он держал черную фетровую шляпу.

— Мне кажется, господин генерал, — почтительно сказал часовых дел мастер Кнохе, — что я кое-что начинаю понимать в этом деле.

— Говорите, Кнохе, — сказал генерал. — Надеюсь, что вы поможете мне.

Часовщик наклонился к самому уху генерала. Как ни старались присутствовавшие, им удалось разобрать лишь отдельные, несвязанные друг с другом слова:

— Опыты... Соседи по дому... Сбежал...

И только последние фразы донеслись до всех целиком:

— Просто глупый мальчишка. Будьте спокойны, ничего серьезного не может случиться.

Сперва генерал, слушая Кнохе, недоверчиво качал головой, но под конец одобрительно хлопнул часовщика по плечу.

— Молодец, Кнохе. Это действительно редкий случай. Но, судя по вашим словам, ничего серьезного нам не грозит. Вероятно, все это детские шалости. Я поручаю вам покончить с мальчишкой.

Он облегченно вздохнул и протянул руку к телефону, который уже несколько секунд без прерыва звонил.

— Алло! Алло! Что? Повторите... Бензинохранилище?

Трубка выпала из рук генерала. Он метнул яростный взгляд на Кнохе и, побледнев, прошелестел одними губами:

— Господа! Бензинохранилище взорвано невидимкой... Это по-вашему тоже ничего серьезного?

Ошеломленный Кнохе молчал. Генерал, вскочив с кресла, отодвинул его с такой силой, что оно грохнулось на пол.

— Немедленно расставить посты на углах! Установить наблюдение! Приказываю стрелять в каждого невидимого!.. Ну, в чем еще дело, Кнохе?

Часовщик, оправившийся после конфуза, осторожно дергал сзади за рукав генерала.

— Тсс, ваше превосходительство, — бормотал он, прикладывая палец к губам, — умоляю вас, — тише! Кто знает, может быть, в эту минуту невидимка находится здесь. Подумайте, что, если он незаметно стоит где-нибудь и подслушивает ваши приказы? Мне послышался какой-то шорох в углу...

— Тсс, — прошипел генерал.

Офицеры затаили дыхание, но шорох, о котором говорил Кнохе, больше не повторился.

— Я думаю, Кнохе, — сказал генерал, — у вас нервы не в порядке. Вам, наверное, почудилось. Его, безусловно, здесь нет.

— Конечно, — согласились все остальные, — его здесь нет.

Но, словно в насмешку, из глубины комнаты раздалось чье-то чихание.

— Он здесь! Это он чихнул! — закричал генерал, бросаясь вперед. Он широко растопырил руки, чтобы схватить невидимку и начал метаться из угла в угол по комнате. — Ловите его!

Все кинулись выполнять приказ генерала, задев и опрокидывая стоявшие в комнате вещи.

Только один майор фон-Швиммель с чрезвычайно смущенным выражением лица не двинулся с места.

— Почему вы стоите, как пень, фон-Швиммель? — крикнул ему генерал.

— Потому что, — все еще заикаясь, ответил майор, простудившийся после лежания в снегу, — потому, ваше превосходительство, что это я сам и чихнул...

— Тьфу, — генерал даже плюнул от злости. Он снова сел в кресло. — Видимо, господа, я ошибся. Его здесь действительно нет. Прекратим розыски и будем продолжать обсуждение... Ну, в чем дело, Кнохе?

Часовщик с широко расставленными руками медленно двигался по комнате. Он обследовал каждый угол, иногда поспешно сдвигая руки, словно пытаясь кого-то схватить. И вдруг, без всякой видимой причины, часовщик согнулся в три погибели, как будто наткнувшись на что-то. Он повалился на пол, руки его сомкнулись и он стал перекатываться с боку на бок, крича:

— Он здесь! Он здесь! Я держу его! Он лягнул меня прямо в живот! На помощь! Ай!

Кнохе затряс в воздухе правой рукой, на которой показалась струйка крови и следы чьих-то зубов.

— Держите его! Он меня укусил.

Все бросились на помощь часовщику, толкая друг друга и сбивая с ног, но было уже поздно.

Дверь сама собой распахнулась, пропуская

кого-то, и захлопнулась перед самым носом фон-Швиммеля и генерала, которые одновременно стали протискиваться в нее. Они вдвоем выскочили в приемную и разом упали, споткнувшись о лежавшего посреди комнаты адъютанта.

— На меня что-то налетело, — оправдывался адъютант, поднимаясь на ноги. — Это было совсем неожиданно.

Последним в приемную выбежал Кнохе, держа укушенный палец во рту.

— Как это вы опять его упустили? — закричал на него генерал, — Вперед, фон-Швиммель! От нас-то он теперь не уйдет.

Он выхватил револьвер и, сопровождаемый офицерами, бросился вниз по лестнице.

Через минуту на улице началась стрельба. Изумленные жители, прячась в домах, видели как по опустевшей мостовой стрелами несло несколько германских офицеров. Они набегу стреляли в расстилавшееся перед ними пустое пространство.

Это началась охота за невидимкой.

МНОГИЕ ПРЕСЛЕДУЮТ ОДНОГО

Сергей в школе славился, как хороший бегун. Теперь он летел по улице, что есть духу. За собой он слышал топот шагов, выстрелы и громкие крики: — Хальт!.. Невидимка... Это он...

„Ничего, — успокаивал себя Сережа, — сейчас я сверну в переулок. Меня они все равно не увидят“.

Но, бросившись в первый же переулок, он на бегу оглянулся и вздрогнул от удивления: преследователи повернули за ним.

„В чем дело? — с тревогой подумал Сергей. — Неужели я перестал быть невидимкой?“

Он поспешно взглянул на себя: сквозь свое прозрачное тело он различил лишь мостовую, покрытую снегом. Нет, конечно, он попрежнему невидим. А то, что немцы до сих пор его не оставили, объяснялось простой случайностью.

Он хотел было остановиться, чтобы пропустить погоню мимо себя, но в это мгновение пущенная фон-Швиммелем пуля просвистела над его головой.

За первой пулей последовали другие.

Не раздумывая, Сергей кинулся дальше, но расстояние между ним и преследователями все сокращалось. Он уже слышал позади тяжелое дыхание запыхавшихся немцев.

Сергей пронесся мимо стоявшего на углу часового, и вдруг часовой вскинул винтовку и, тщательно прицелившись, выстрелил.

Шапка чуть не слетела с головы Сергея. „Хальт!“ звучало у него за спиной.

„Часовой целился... целился... Значит, он видел меня!“

Задыхаясь, он выбежал на крутой, обрывистый берег, к мосту, — за ним начиналась заречная часть. Сережа хотел перебежать через мост. Но с той стороны, громяхая, показался танк, — знакомый, с белой, похожей на паука, свастикою на башне. Танк осторожно взбирался на мост, занимая всю его ширину.

Путь вперед был отрезан. Сереже пришлось повернуть назад. Но тут он понял сразу все: следы на снегу!

Вот почему немцы гнались за ним по пятам. Вот почему пули чуть не задевали его.

Следы! Они тянулись за ним отчетливой цепочкой по снегу, служа путеводной нитью для немцев.

— Хальт! — закричал генерал, приближаясь во главе своих офицеров. — Не стреляйте, фон-Швиммель. Мы захватим невидимку живьем: он остановился. Забегайте вперед!

Сережа понял, что сейчас его схватят. Надо было мгновенно принять решение.

Он поднял ногу и поставил ее на собственный, оставленный им позади себя след. Затем также переставил вторую ногу. Пятясь, он очутился на некотором расстоянии от места, где обрывались его следы.

— Вот он стоит! — торжествовал между тем генерал, указывая на два последних следа, с которых только что сошел Невидимка. — Сейчас мы схватим его. Забегайте, фон-Швиммель, с той стороны, а я схвачу его с этой. Ну, живо!

И в то время, как Сергей отступал назад по своим старым следам, генерал и фон-Швиммель кинулись один другому навстречу. И вместо того, чтобы схватить Невидимку, они вцепились друг в друга.

— Пустите! — завопил генерал, стараясь освободиться из объятий фон-Швиммеля. — Я держу Невидимку.

— Извините, ваше превосходительство, — возразил фон-Швиммель, — это вы меня держите.

Сергей, отступая все дальше, наблюдал эту сцену, но ему было совсем не до смеха.

Едва генерал воскликнул растерянно: „Куда же он девался?“, как к нему обратился почтительный Кнохе:

— Вы видите, ваше превосходительство, что следы обрываются. Так что вперед Невидимка не мог убежать.

— Ну, конечно.

— И в сторону тоже следы не ведут.

— Не ведут.

— По воздуху Невидимка передвигаться не может.

— Ну, ясно. Только, что это может доказывать?

— Это доказывает, господин генерал, что Невидимка вернулся назад.

„Пропал!..“ — подумал Сергей.

Но тут произошло нечто совсем неожиданное.

Раздался оглушительный грохот, толпившихся на берегу людей будто порывом ветра повалило на землю, и мост вместе с танком взлетел в воздух.

С ужасным лязганьем танк обрушился вниз, пробив лед. Прежде, чем кто-нибудь успел сообразить что случилось, танк погрузился на дно реки.

Поднялся страшный переполох. Немцы метались крича:

— Невидимка! Это он взорвал мост...

Но Сергей не меньше других был поражен происшедшим.

„Кто же взорвал мост? — думал он. — Теперь всё будут приписывать мне!..“

Оглянувшись, Сережа увидел, что его преследователи в замешательстве остановились. Не теряя времени, он бросился в сторону от моста.

Смеркалось. Сережа очутился на углу той самой улицы, где недавно в него стрелял часовой.

Теперь на углу стояла толпа, которую разгоняли солдаты. Сергей прислушался, — то тут, то там раздавался взволнованный шопот:

— Невидимка... среди белого дня...

„Ну, что тут еще?“ — подумал беспокойно Сергей.

Толпа расступилась, и он увидел лежавшего с раскинутыми руками на мостовой часового. Кто-то объяснял:

— Внезапно... убил часового... Невидимка!

„Да что же это? — растерялся Сергей. — Кто это под мою марку работает?“

Теряясь в догадках, Сергей свернул на очищенную от снега панель. Он мог шагать по ней, не оставляя следов.

Наступила ночь. Он был голоден и устал. В доме, мимо которого он проходил сейчас, жил его школьный товарищ. Зайти, попросить приюта? Но это значит — открыть свою тайну.

Сережа решил идти к Василию Тихоновичу, — для него все люди теперь невидимки, от него не приходится ждать ненужных расспросов! И, может быть, ему нужна Сережина помощь. Но Шура? Как ей объяснить все, что произошло? Нет, от Шуры нужно все это скрыть.

Сергей повернул к дому Василия Тихоновича. Весь путь он проделал без приключений.

Василий Тихонович попрежнему сидел в кресле у окна. Перед ним на столе горела лампа. Лицо старика было забинтовано. Услышав шаги за спиной, он тревожно обернулся:

— Кто там?

Сережа кинул взгляд на постель. Шура спала. — Добрый вечер, Василий Тихонович, — сказал с порога Сергей. — Извините, что я так поздно... Но я хотел вас проведать.

— Очень рад тебя видеть, — сказал учитель и улыбнулся грустной улыбкой. — Хотя, собственно, видеть тебя не могу.

— Василий Тихонович, — нерешительно обратился Сергей к старику. — Я вас хотел попросить: когда Шура проснется — не говорите, что я тут, у вас.

— Почему? — удивился учитель.

— Не спрашивайте, — смутился Сергей. — Честное слово, я вам когда-нибудь все объясню.

— Но ведь она сама увидит тебя.

— Не увидит, — сказал Сергей и, спохватившись, поправился. — Я спрячусь на время. Не удивляйтесь, Василий Тихонович, это очень серьезное дело. Вы мне поверьте.

— Ну, что же, — сказал после молчания учитель, — я тебе верю. По-моему, на плохое ты не способен...

В это время Шура зашевелилась на постели и подняла голову. Сергей поспешно отошел в угол, где стоял подрамник и прислонился к стене.

— Ты с кем-то разговаривал, папа? — спросила Шура. — Я слышала голоса.

— Нет, Шурочка — смутился Василий Тихонович, — это я так... Сам с собой... То есть я хочу сказать: это тебе приснилось...

Неизвестно, чем бы кончился разговор, если бы вдруг Сергей не задел подрамник и тот не свалился бы на пол.

— Ах! Кто там? — услышав шум, испуганно вскрикнула Шура.

Необходимо было спасти положение. Одним прыжком Сергей подскочил к столу и задул лампу. В комнате стало совсем темно.

— Кто там? — повторила изволнованным голосом Шура. — Что случилось?

— Это я, Шура, — громко сказал Сергей. — И, кажется, что-то здесь уронил. Не пугайся.

— Откуда ты взялся? — удивилась Шура. — Я даже не видела, как ты появился...

— Это потому, что когда я вошел, лампа потухла.

— Так поздно!.. — продолжала удивляться Шура. — Сейчас зажгу лампу.

— Подожди, тебе нельзя вставать, я сам зажгу, — предложил Сергей. — Где спички?

— На столе.

Сергей пошарил руками и нащупал коробок. Он сунул его в карман и сказал:

— Что ты придумала? Там вовсе нет спичек.

— Куда ж они делись? — воскликнула Шура. — Какая досада! Соседка принесла экстренный выпуск газеты и я хотела прочитать папе. Там напечатано о награде тому, кто поймает Невидимку. Неужели его поймают?

— Все это глупые выдумки, — ответил Сережа как можно спокойнее. — Невидимок нет. Просто даже слушать смешно.

— Совсем не смешно, — рассердилась Шура. — Весь город знает уже о Невидимке. Кто поджег бензохранилище? Невидимка. Кто побил майора у самой комендатуры? Невидимка. Кто взорвал мост? Опять Невидимка.

— Ну, вот это уж враки, — возразил твердо Сергей. — Мост взорвал кто-то другой.

— Ты думаешь? — ответила Шура насмешливо. — А кто убил часового?

— И часового убил кто-то другой.

— Откуда ты знаешь? — совсем рассердилась Шура. — Что, Невидимка тебе докладывает?

— Не докладывает, — тоже рассердился Сергей, — а раз говорю, так знаю.

— Ты просто завидуешь Невидимке, — сказала Шура. — Еще бы! Сколько можно дел натворить, если быть Невидимкой. Мстить немцам на каждом шагу и знать, что ты неуловим.

— Положим, — ответил Сергей вспомнив о недавно пережитой погоне, — а на снегу остаются следы и по ним можно догнать Невидимку.

— Конечно, — сказала Шура презрительно, — тебе, наверное, было бы очень страшно быть Невидимкой.

„Зажгу лампу, — сердито подумал Сергей, — и докажу ей“.

... Но нет! Нужна осторожность...

Сергей промолчал. Разговор был так неприятен ему, что он решил уходить.

— Ну, прощай, — сказал он обиженно. — До свиданья, Василий Тихонович.



Часовщик Кнохе

Шура поняла, что задела Сергея.

— Да ты посиди... И что же ты будешь делать совсем одна? Ну, стой, я тебя провожу, закрою за тобой калитку...

Это было совсем уж некстати. Только то, что за окнами стояла черная ночь, в которой не было видно ни зги, заставило Сергея сказать:

— Ну, ладно, пошли. Только оденься потеплей.

Сережа сильно проголодался, и было бы очень хорошо, если бы Шура дала ему поесть. Но для этого нужно было зажечь свет... Сережа невольно подумал о мешке с провизией, оставшемся дома.

Они вышли вдвоем на крыльцо. Густой мрак окутывал землю. Сергей слышал голос Шуры, но, как ни старался, не мог ее разглядеть. Он нашел в темноте Шуриной руку и пожал ее на прощанье, — рука была горяча. Голос Шуры сказал:

— Как бы я хотела познакомиться с Невидимкой!

В это мгновение луна вышла из-за туч. Она осветила крыльцо и двор, и сугробы, и при бледном свете ее Сергей внезапно увидел искаженное ужасом лицо Шуры. Он рванул свою руку, но Шура

крепко держала его. Она держала его и... не видела.

— Сергей, — прошептала она, — значит... это ты и есть — Невидимка?!

— Тише, — ответил Сергей. — Ты одна это знаешь. Но больше чтоб — никому!

— Никому, — обещала Шура. — Можешь на меня положиться... Это ты поджег бензохранилище и побил майора?

— Я.

Шура крепко сжала его руку своей горячей рукой.

— И взорвал мост? И уложил часового?

Сергею хотелось приписать и эти подвиги себе, но он честно признался:

— Я ж говорил, что это кто-то другой. Только тогда ты не верила... Иди скорее домой, Шурочка.

Но Шура не уходила. Она была занята своими мыслями.

— Как же это может быть? Разве есть еще другой Невидимка?

— Честное слово, не знаю, — в недоумении ответил Сергей. — Но, если есть еще другой Невидимка, то обязательно нужно его разыскать.

ВТОРОЙ НЕВИДИМКА

— Куда же ты пойдешь, Сережа? — спохватилась Шура. — Нет, не уходи, оставайся здесь!

— Знаешь что? — отозвался ее невидимый друг. — Я схожу домой и вернусь. Там мешок с едой остался. Обидно же, чтобы немцам...

— Не уходил бы ты лучше, чорт с ней, с едой! Я накормлю тебя.

— Я скоро вернусь, — решительно сказал Сережа. — Уходи, Шура, ты простудишься.

— Ну, так возвращайся поскорей, а то я буду беспокоиться.

Сергей кивнул головой, но вспомнил, что Шура не может увидеть его кивка, и зашагал по пустынной улице.

Поровнявшись с воротами своего дома, Сергей остановился, толкнул калитку, вошел.

Чужие люди уже побывали здесь. Может быть, они находятся здесь и сейчас. Перед дверью сарая доглевал на снегу костер. У сарая стояла скамейка и на ней был рассыпан пепел от трубки. Кто-то совсем недавно сидел и курил на скамейке: пепел еще не сдуло ветром.

Дверь в дом оказалась незапертой.

В комнате на столе чадила керосиновая лампа.

На диване спал Кнохе. Один глаз его был приоткрыт. Кнохе во сне шевелил пальцами и бормотал. Рядом с ним, обхватив винтовку и уронив голову на руки, сидя, храпел немецкий солдат. На полу валялись его трубка и разбитая бутылка. В комнате пахло водкой.

Сергей заметил на столе мешок с едой, забытый им накануне. Мешок был развязан и наполовину опустел. Часть его содержимого валялась на столе, а часть, как видно, была уже съедена солдатом и Кнохе.

— Гады! — сказал Сережа со злобой и отвращением.

Сережа подошел к столу, чтобы собрать то, что осталось. Вдруг позади в сенях скрипнула половица. Сергей вздрогнул и повернул голову.

В сенях послышался как будто легкий шорох удаляющихся шагов. Потом на дворе раздался тихий свист. Сергей повернулся и выбежал из дома.

Ярко светила луна и Сережа увидел, что двор пуст.

„Померещилось?“ — подумал он, но в это время услышал чей-то приглушенный голос:

— Ты, Федор?

Голос шел из сарая. Сергей подбежал к двери сарая, на ней висел громадный замок. Неожиданно дверь изнутри подалась, и Сергей увидел в щель лицо человека.

Лицо было воспаленное, обросшее, в крови. Но Сереже особенно запали в душу глаза: поставленные очень близко к переносице и немного косящие, они были полны тревожного ожидания.

Несомненно, этот человек был арестован немцами и его сторожил тот самый солдат с трубкой, который уснул на диване у Кнохе. Солдат, видимо, зашел погреться и напился водки. Ключ от замка, конечно, находился у него. Овладев ключом, можно было освободить арестованного.

Сергей бросился назад, в дом.

Он стал поспешно шарить в карманах у солдата, но ключа найти не мог.

Солдат, не просыпаясь, во сне чувствовал чьи-то прикосновения. Он мычал и отмахивался рукой.

От их возни проснулся Кнохе. Он при-



Кнохе и солдат выстрелили...

поднялся и протер глаза. Сергей застыл на месте.

— Бездельник! — крикнул Кнохе на солдата. — Ты все еще здесь? Иди сорви своего арестанта!

И он толкнул солдата коленом в бедро. Солдат, не просыпаясь зарычал и схватился за бедро.

— Иди! — еще раз крикнул Кнохе, повалился на диван и уснул.

Облегченно вздохнув, Сергей снова принялся за розыски ключа. Наконец, он нашел его. Ключ на шнурке висел у солдата на груди, под рубахой, как крест.

Сергей стал осторожно снимать ключ. По мере того, как он поднимал шнурок с ключом, солдат хватался за грудь, за шею, за волосы, но не просыпался.

Наконец, с ключом в руках, Сергей бросился из дома.

В изумлении замер он на пороге: дверь сарая была открыта настежь.

Сергей подбежал к сараю, — он был пуст. В раскрытом замке торчал ключ.

Сергей оторопело смотрел на ключ в замке и вертел в руке другой ключ, который он снял с солдата.

— Второй Невидимка! — прошептал Сережа.

Вдруг из дома донеслись громкие крики.

— Мой ключ! — орал солдат.

— Опять Невидимка! — вопил Кнохе.

Часовщик и солдат появились на пороге.

— Стреляй в Невидимку! — закричал Кнохе и выхватил револьвер. — Видишь, он стоит у сарая и держит в руке ключ. Целься.

Кнохе и солдат выстрелили: Кнохе — из револьвера, а солдат — из винтовки.

Две пули просвистели у самой щеки Сергея. Он отшвырнул от себя ключ и побежал к калитке.

— Следы, следы! — заорал Кнохе. — Стреляй на шаг впереди следа!

Испуганные жители, выбегая из своих домов на крики и выстрелы, видели, как часовых дел мастер Кнохе и немецкий солдат бегут по улице и стреляют в пустое пространство, заряжают и снова стреляют.

До края города гнались часовщик и солдат за Невидимкой. Наконец, следы его потерялись в лесу.

Кнохе и солдат долго бегали по опушке и стреляли.

Возвращались они усталые и мрачные. Кнохе был в ярости от того, что опять упустил Невидимку.

Вдруг Кнохе остановился и хлопнул себя по лбу.

— Как я об этом раньше не подумал? Теперь Невидимка в моих руках... Хальт! — крикнул он солдату. — За мной!

И Кнохе повернул к дому уже ел...

В это время Сергей, хрипло дыша, сидел в лесу на пне. В ушах у него венело, кружилась голова, ноги стали будто чужими.

Уже двое с тех пор он не спал и не ел, почти не присаживался и не ходил в беспрестанном волнении. Одна опасность сменялась другой, неожиданность следовала за неожиданностью.

Сергей с тревогой думал о Гольной Шуре, которая, вероятно, в это самое время с не меньшей тревогой ждала его возвращения. А мать и дядя Коля? В каком они страхе за него, сколько мучительных колебаний, должно быть, пережили они прежде, чем решили уехать, не дожидаясь его, как терзаются сейчас, что отпустили его!..

Долго сидел он на пне, не в силах двинуться с места. Уже светало. Вдруг он услышал хруст шагов.

Шаги приближались. Вскоре Сергей увидел двух немецких офицеров.

Офицеры шли медленно, внимательно разглядывали деревья, останавливались, что-то соображая, и, как будто выбрав правильный путь, снова ускоряли шаги.

Офицеры то появлялись, то исчезали за деревьями. Вот они опять остановились. Один из них повернул голову в ту сторону, где сидел Сергей.

Сергей вскочил на ноги и едва не вскрикнул: он узнал арестованного, которого видел в дверную щель в сарае... Он не мог ошибиться: эти глаза, поставленные близко к переносице и немного косящие!..

Второй офицер был пониже ростом, плотный, краснощекий.

Сергей стоял и изумленно разглядывал приближавшихся к нему людей. До него долетели слова, — немецкие офицеры говорили на чистейшем русском языке:

— Да, Федор. — сказал тот, которого Сережа видел в сарае, — невесело было сидеть и ждать, пока повдуют в шат. Но была и у меня радость. Вчера вечером меня как тряханет в сарае! Я сразу подумал: верно, друзья мост взорвали.

— А про танк ты не знаешь? — отозвался Федор. — По мосту танк шел. Мы его отправили на дно — с рыбами воевать.

Так вот он — „второй Невидимка“

Сергей пошел следом за собеседниками.

МИНИСТР ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Один „государственный деятель“ школьной державы до сих пор был оставлен нами без внимания: это — „министр земледелия“, а попросту говоря — школьный садовник Богданыч.

„Министр земледелия“ был подслеповат, рыжеватая бороденка и остатки волос его всегда были растрепаны, а фартук неизменно перепачкан землей и травой. Он любил школу и школьников, любил деревья, цветы, птиц и любил пофилософствовать.

Сережа, страстный юннат, был частым собеседником Богданыча. Немало интересного он узнал от старика. Раз Богданыч показал Сереже рукой на пенек в глубине сада, — там сидела большая голубая кукушка, развернув крапленный белыми колечками хвост:

— Смотри, друг, зезюля сидит, ждет няньку. А нянька-то вчетверо меньше ее, — видишь, хлопчет в ветвях? Они, зезюли, птенцов не выводят, а подкидывают яйца в чужие гнезда. Птицы, а тоже эксплуатация выходит!..

Война принесла Богданычу много огорчений. В один из первых ее дней учащиеся и персонал школы рыли в саду укрытия от бомб. Богданыч, годами проводивший свои дни в саду в неустанном труде, наотрез отказался принять участие в этой работе. Он стоял, прислонясь к дереву, сложив руки на животе, под фартуком, и с недоуменной грустью смотрел, как под дружными взмахами лопат траншея быстро ползет от дерева к дереву и безобразит его сад. Когда же окоп подошел к большой, еще не расцветшей астре, Богданыч решительно шагнул к цветнику и сказал:

— А вот уж цветка мне не портят! Пока я жив, пусть и он живет.

И он большими заскорузлыми руками стал бережно выкапывать астру, чтобы пересадить ее.

Из преподавателей особенной любовью Богданыча пользовался Василий Тихонович, часами просиживавший с палитрой в саду и зарисовывавший все его уголки.

— Ну, как, мой друг, ты находишь эту траву? — бывало спросит, по обыкновению немного театрально, Василий Тихонович, отходя от акварели.

Богданыч тотчас же уткнется носом в акварель, теребя бороденку, потом откинется назад, щуря свои подслеповатые глаза.

— У тебя она, Василий Тихонович, не блестит, А живая-то травка, друг, сам знаешь, от природы будто лаком покрыта.

Василий Тихонович, если бы услышал такой отзыв о своей акварели из уст художника, непременно надел бы пенсне и окинул бы самонадеянного критика насмешливым взглядом.

Но слушая Богданыча, Василий Тихонович глубокомысленно закрывал глаза, наклонял голову и после многозначительной паузы произносил:

— У тебя душа художника, Иван Богданович! Травка вскоре „оживала“.

Водворение в школе немцев, принявшихся рубить любимые деревья Богданыча, было для него большим ударом. Постаревший, сгорбившийся выходил он на порог своей сторожки и молча смотрел на поваленные деревья.

Когда же Богданыч от встретившегося ему на улице школьника узнал о несчастье, постигшем Василия Тихоновича, он как-то посередил весь, заковылял домой, долго стоял посреди комнаты, потом сунул в „недра“ полушубка, то-есть за пазуху, ломоть хлеба, запер на замок сторожку и ушел.

Вернулся он через несколько дней. Немцы, обратившие внимание на отсутствие старого садовника, допросили и избили его. Вразумительных объяснений от старика они не добились, но, считая его безвредным, отпустили, разрешив ему попрежнему жить в сторожке.

На другое утро, заметив, какими глазами смотрел садовник на срубленный в саду старый дуб, оберлейтенант усмехнулся и отдал приказ, чтобы впредь рубил и пилил деревья сам Богданыч.

Офицер был уверен, что Богданыч откажется выполнять приказ и этим даст повод еще раз избить его и поиздеваться над ним.

К удивлению оберлейтенанта Богданыч покорился. „Побои пошли ему впрок“, — подумал немец, наблюдая за тем, как старик садовник подпиливает березку, но о действительной причине его покорности офицер не догадывался.

Угрюмо подпиливая обреченное на сруб деревцо, Богданыч бормотал себе под нос:

— Исполнится, исполнится мера грехов ваших, окаянные. За все тогда воздастся вам, за каждое деревцо!

Но Богданыч думал не столько о суде божьем, сколько о тех удивительных людях, с которыми завязал дружбу в дни своего исчезновения из сторожки.

Когда немцы ушли обедать, Богданыч бросил пилу, сердито сплюнул и отправился к себе. Он достал из погребка немного масла, пяток яиц, — гостинец Василию Тихоновичу, — и пошел навестить учителя рисования.

Богданыч уже подходил к дому Василия Тихоновича, когда калитка отворилась и на улицу вышли учитель с забинтованным лицом и пожелтевшая, исхудавшая Шура, которая вела его за руку, а за ними — немецкий солдат с винтовкой на перевес.

Увидя забинтованное лицо Ва-



силия Тихоновича и немца с винтовкой, Богданыч побелел и остановился.

— Ну, марш, марш, — закричал солдат и погнал арестованных по мостовой.

Богданыч, перебирая трясущимися руками узелок, сначала провожал их глазами, а потом пошел за ними следом на таком расстоянии, которое не могло внушить подозрений.

У полуразрушенного снарядами дома, поблизости от комендатуры, стоял часовой. Солдат подвел к нему арестованных. Часовой постучал прикладом в дверь подвала. Дверь отворилась, вышел унтер-офицер. Солдат, который привел учителя и Шуру, вытянулся, щелкнул каблуками, потом протянул унтер-офицеру две бумажки. Унтер-офицер взглянул на бумажки, потом на арестованных, одну бумажку сунул в карман, а на другой расписался и вернул ее солдату. Солдат снова вытянулся, повернулся на каблуках и зашагал к комендатуре, а Василий Тихонович и Шура исчезли за дверью подвала.

Богданыч, понутив голову, смотрел на эту дверь. Потом он заметил, что с противоположной панели какой-то человек в черной фетровой шляпе смотрит в его сторону. Это встревожило Богданыча, и он побрел назад.

Оглянувшись, он увидел, что человек в шляпе, перешел мостовую и идет следом за ним.

Поровнявшись с Богданычем, он вежливо приподнял шляпу, и тогда близорукий садовник узнал часовщика Кнохе. Богданыч сразу успокоился и обрадованно кивнул старому знакомому.

Богданыч знал Кнохе больше двадцати лет и очень уважал его за искусное мастерство, за всем известную честность, спокойный нрав и благообразный вид. Встретив часовщика впервые после оккупации города немцами, Богданыч ни малейшего недоверия к нему не почувствовал. Правда, Кнохе был немец, но Богданыч так понимал, что это когда-то Генрих Карлович был немцем, а за двадцать пять лет пребывания в России он стал „своим братом“. Все к нему в городе привыкли, во многих домах он был близким человеком. Да и что общего могло быть между почтенным часовщиком и этими окаянными душегубами?

Обрадовался же ему Богданыч потому, что, когда он узнал Кнохе, у него мгновенно родилась мысль, что часовщик может помочь арестованным.

— Здравствуй, друг, Генрих Карлович, — сказал



— Марш! — закричал немец.

садовник (он всем говорил „ты“). — Беда-то какая? Не можешь ли пособить?

Кнохе внимательно посмотрел на садовника.

— Вы говорите про это, Иван Богданович? — вполголоса спросил он, кивая головой в сторону подвала, куда упрятали арестованных. — Да, это ужасно. Но как я могу помогать? Меня самого...

— Ну, пустое, друг. Кто тебя тронет? Ведь ты, как никак, немец. Я так понимаю, что ты у „них“ даже в почете можешь быть. Вот и заступись за учителя с девочкой.

— Я думаю, вы ошибаетесь, Иван Богданович, — сказал часовщик, качая головой. — Я вам скажу правду (Кнохе еще более понизил голос), — вчера в мой дом ворвались эти разбойники, унесли много дорогие вещи, много поломали, а мне — смотрите, что сделали!

С этими словами Кнохе, сняв перчатку, протянул Богданычу руку, покрытую кровоточащими ссадинами. Это были укусы и царапины, доставшиеся часовщику от Невидимки во время драки у генерала.

Богданыч огорчился и возмутился.

— Свою же кровь проливают! За все, за все воздастся им, окаянным.

Часовщик пристально смотрел на Богданыча.

— Да. Я думаю, надо иначе помогать (я имею веру к вам, но тсс! Можно погибать, если малейшая неосторожность): надо найти мои друзья — партизаны, они могут помогать. Вы из наших, из лесу, никого не встречаете?

— Обещались ко мне наведаться, — ответил Богданыч, — да вот нейдут чего-то.

— Что-нибудь устроим, — решительно сказал Кнохе. — Я приду к вам, Иван Богданыч. Добрая ночь!

Часовщик приподнял свою черную шляпу, и они расстались.

Богданыч брел домой в раздумьи.

„Прав Генрих Карлович: партизаны пособят. Самому податься к ним или ждать Федора? Обещался ведь!“

„Дождусь ночи, — решил садовник. — Может, придет. Да, и Генрих Карлович...“

И вдруг легкое сомнение закралось в душу Богданыча: „А, может, не след было откровенничать с часовщиком?.. Да нет, он — честная душа“, — решил Богданыч и успокоился.

На углу перед громкоговорителем стояла толпа:

„Предлагается Невидимке, то есть Сергею Званцеву, в трехдневный срок сдать в руки германских властей, — говорил голос по радио. — Если же Невидимка, то есть Сергей Званцев, в трехдневный срок не сдастся в руки германских властей, то находящиеся под арестом учитель и его дочь будут повешены“.

Уже темнело. Богданыч постоял с опущенной головой, пожевал губами, потом побрел в школу.

Дверь в сторожку оказалась незапертой.

— Что это я? Никак, забыл запереть? — подумал садовник. — Он вошел в комнату и вздрогнул. В кресле у стола сидел немецкий офицер.

Но тут же Богданыч узнал того самого Федора, который должен был к нему притти.

— Федор, друг! — обрадовался он. — А я-то ждал

— Тише, сказал Федор. — Я не надолго. Немцы арестовали слепого учителя с дочкой. Надо узнать, куда они их посадили.

— Друг, да я же знаю, я все знаю! — воскликнул Богданыч. — Я всю дорогу за ними следом шел.

— Вот это ладно, — сказал Федор. — Ведь у нас теперь только два дня. Ну, ты меня подожди, Иван Богданович. Тут у меня еще дельце одно есть. Я через полчаса вернусь, и ты покажешь мне, куда посадили учителя.

Федор ушел. Богданыч запер за ним дверь сидел и ждал. Прошло полчаса. На дворе совсем стемнело. Богданыч опять начал тревожиться. Наконец, в дверь постучали.

Богданыч взглянул в окно и увидел стоявшего на крыльце немецкого офицера.

Он пошел к двери и, прежде, чем открыть, осторожно спросил:

— Федор, ты?

— Я, — услышался голос.

Богданыч отпер.

— Зайдешь? — шопотом спросил садовник. — Или сразу пойдём?

— Пойдем, — сказал офицер, и в голосе его прозвучала насмешка.

Богданыч взглянул в лицо гостя и ахнул. Это был не Федор. Перед ним стоял настоящий германский офицер (это был майор фон-Швиммель).

— Пойдем, — повторил майор. — Скорее! Вы арестованы.

ШУРА ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ

В темноте, на холодном земляном полу Шура ощупью нашла кусок рогожи и сложила его вдвое. Она с отцом уселась на рогоже, поджав под себя ноги. Из двух пальто, пристегнув одно к другому, они соорудили палатку, накрылись ею и крепко прижались друг к другу. Но Шуру продолжал тряссти озноб, — у нее опять поднималась температура.

„Погибнет! Если не от руки немца, так от холода и сырости, — с ужасом думал Василий Тихонович. — Нужно было уехать. Это я убил ее!“

От тревоги за Шуру он даже переставал чувствовать боль, которую ему причиняли раны.

Но Шура не могла себе представить, что она и отец погибнут. Нет! Их невидимый друг убьет часового и откроет дверь подвала. Или Красная Армия стремительным натиском возьмет город. Или... Шура не знала, что именно произойдет, но что-нибудь непременно должно было произойти.

Весь день заключенным не давали ни пить, ни есть. Вечером раздали шаги по ступенькам, ключ повернулся в замке и вошли генерал и майор. Фон-Швиммель направил свет электрического фонарика на заключенных.

— Встать! — закричал майор.

— Отвечайте мне, — сказал генерал, — где есть ваш друг Невидимка?

Шура и Василий Тихонович молчали.

— Ага, — усмехнулся генерал, — я вижу вы не понимаете мой вопрос. Вам нужно иметь переводчик. Объясняйте ему, майор, чтобы они понимали.

Майор размахнулся и ударил Василия Тихоновича кулаком в лицо. Слепой упал.

— Теперь вы понимали мой вопрос? — спросил генерал. — Вы мне скажете, где есть Невидимка?

— Мы не знаем, где Невидимка, — закричала Шура. — А если знали бы, то, все равно, не сказали бы вам...

— О, — захохотал генерал, — какая храбрость! Мы понимаем: лучше самим умереть, чем выдать свой друг. Русский человек — рыцарь, так?.. Ха-ха... Но мы сделали маленькую хитрость. Мы объявили по радио, что, если Невидимка в течение три дня сам не сдастся в руки германский командование, то вы будете повешены. Он тоже не захочет терпеть, чтобы вы за него умирали...



— Где есть Невидимка?

— Какая подлость! — закричала Шура. — Папа, ведь Сережа придет и отдастся им в руки!

— Так, так, — подтвердил генерал. — Он не допустит ваша смерть. Вы должны быть благодарны немецкий командование, что оно придумало такой хороший выход для вас.

И, все еще усмехаясь, генерал в сопровождении фон-Швиммеля вышел.

Снова ключ повернулся в замке.

— Папа, папа, как поступить нам? — спросила в отчаянии Шура. — Они же убьют Сережу!

Василий Тихонович не знал, что ответить.

Долго тянулась томительная ночь. Наступил день, но и он не принес облегчения арестованным: им опять не дали ни есть, ни пить. Шура с отцом сильно ослабели.

На третий день, когда отец и дочь лежали совсем без движения, опять в замке повернулся ключ. Майор фон-Швиммель с очень унылым видом спустился в подвал.

— Нун, — сказал майор, — мы старались сохранить вашу жизнь. Но ваш друг Невидимка хочет ваша смерть. Он лишен настоящего благородство. Почему вы должны умирать за такой мальчик?

— Дайте нам пить, — приподнялся Василий Тихонович. — Дайте хоть девочке.

— Если вы того заслужите, то вам будет и пить и есть... Вы имеете последний шанс спасти вашу жизнь. Вы должны по радио сказать Невидимке, чтобы он завтра сдался. А то вас оба будут вешать на площадь. Вы должны умолять его спасти вашу жизнь.

— Мы ничего не скажем, — через силу отве-

тил Василий Тихонович. Он задыхался. — Мы ничего не скажем. Уйдите.

— Очень плохо, — пожал плечами фон-Швиммель. — Каждый должен заботиться сам за себя. Скажите, чтоб он спасал вашу жизнь, а мы вам дадим пить и есть.

— Я скажу, — внезапно шепнула майору Шура. — Только, чтобы не знал об этом отец. Дайте нам пить и есть. Я скажу... Я буду просить его, чтобы он сдался.

— Хорошо, — облегченно вздохнул майор. — Я вижу, что вы умная девочка. Но пить и есть будет потом, а сначала сказать.

— Нет, — твердо стояла на своем Шура, — сперва накормите отца. Иначе я ничего не скажу. Меня потом, а его накормите сейчас же...

— Гут, — согласился фон-Швиммель. — Он сейчас, вы после.

По распоряжению фон-Швиммеля солдат принес в подвал миску супа и кружку воды.

Когда Шура накормила и напоила отца, майор поспешно вырвал из ее рук кружку с водой.

— Вам пить и есть после разговора с Невидимкой.

— Что ты затеяла, Шура? — понял, наконец, происходящее Василий Тихонович. Он привстал. — Я запрещаю тебе.

— Так надо, папа, — решительно ответила Шура.

— Шура! Не смей! — крикнул Василий Тихонович, вскакивая на ноги, но майор уже вел Шуру вверх по ступенькам.

Всю дорогу до комендатуры майору приходилось поддерживать Шуру, чтобы она не упала от слабости.

Он ввел девочку в комнату, и здесь Шура увидела микрофон.

— Сюда говорить, — объяснил фон-Швиммель. — Читать по бумаге. — И он вручил Шуре листок.

На листке было написано:

„Невидимка, Сережа Званцев! Если завтра до двух часов дня ты не сдашься германскому командованию, то нас с отцом повесят на площади. Спаси жизнь своих друзей, Сережа. Сдайся сам, все равно, тебя скоро разыщут. Умоляю, спаси нас!“

Майор вышел и, возвратившись, поставил перед микрофоном тарелку с супом, воду и хлеб.

Шура с трудом отвела от пищи глаза. Голова у нее закружилась.

— Говорить, — приказал майор. — Потом кушать.

— Сейчас, — негромко ответила Шура. — Я все скажу...

Перед глазами ее зажглась яркая зеленая надпись: „Микрофон включен“.

ДРАМА У МИКРОФОНА И ДРАМА В ЛЕСУ.

Люди в полушубках, в ватниках, в меховых куртках, с винтовками и автоматами в руках толпились в землянке. Посредине, сдвинув брови, положив большие руки на стол, сидел человек, которому они повиновались.

Тут, в заснеженных лесах, на земле, захваченной немцами, продолжала существовать советская власть. Ее представлял этот человек. Он был командиром партизанского отряда.

Еще недавно он был товарищем Нежинцевым — секретарем партийного бюро завода, на котором работал инженер Званцев.

Теперь товарища Нежинцева не существовало.

Он бесследно исчез вместе со своими пышными усами, копной седеющих волос и глазами нежной голубизны. А в лесах появился Алексей, безусый, с бритой головой, в темносиних очках.

Весь отряд был в сборе. В землянку набилось столько людей, что от духоты керосиновая лампа, висевшая на бревне, подпиравшем потолочный накат, медленно угасала. Только рядом с командиром оставалось на скамье одно незанятое место.

Все смотрели на Федора, все еще одетого в форму германского офицера. Печально опустив голову, он рассказывал:

— Весь город я, товарищи, обошел. Два дня, как

гончая собака рыскал... И все без толку... Никто не знает, куда упрятали учителя с дочкой. Один только Богданыч знал, да и того немцы схватили... Нить оборвалась, моя вина — упустил...

— Каяться будешь потом, — прервал командир. — Говори, что теперь по-твоему делать?

— Одно остается. Завтра, когда их будут вешать на площади, налететь всем отрядом, перебить охрану, а старика с девочкой освободить.

— Правильно, — раздался голоса.

Но командир покачал головой.

— Это значит — ставить на карту существование всего отряда. И про то вы забыли, что фашисты мирных жителей сгонят на площадь. Сколько наших людей в перестрелке погибнет! Да и слепого с дочкой успеют прикончить. Нет, Федор, твой план не годится.

Тяжелое молчание наступило в землянке:

— Сегодня последний день, — сказал Федор. — Надо решать.

И вдруг со свободного места рядом с командиром послышался голос:

— Я сдамся!

Это был голос Невидимки — Сергея.

— Ты что, сынок? — повернулся к нему командир. — Об этом и думать забудь.

— Нет! — взволнованно и упорно твердил Сергей. — Иначе нельзя. Уже два дня прошло, а мы ничего не придумали. Я сдамся. Я не могу...

Сережа не договорил. Командир наклонился к нему и странно было видеть, как человек обнимает пустое место.

— Не плачь, Сергунька. Знаменитый, можно сказать, Невидимка, его все немцы боятся, а он сидит и ревет... Дай ка мы еще пораскинем мозгами.

Командир утешал, а между тем на душе у него было так же тяжело, как у Сережи.

НА ЭШАФОТЕ

Дверь подвала отворилась, и майор фон-Швиммель крикнул:

— Вставать!

— Уже? — прошептала Шура. Медленно поднялась и помогла встать отцу.

— Торопиться! — крикнул фон-Швиммель. — Скоро есть два часа.

Солдаты схватили Василия Тихоновича и Шуру и, больно выкрутив им руки, поволокли их по лестнице.

„Ведь уже недолго! — твердила про себя Шура, — еще несколько минут этой предсмертной тоски, потом полминуты мучений, и нам станет все равно!“

Их выволокли на улицу и повели между двумя рядами солдат.

Милое серенькое небо, улица в сугробах, бедные дома с пустыми глазницами выбитых стекол, протянутые лапы елей с охапками снега, любимый белый дом на холме!... Все, на что смотрела Шура, видела она теперь в последний раз.

Посмотрела на отца. Какой он старенький, идет сторбившись. За эти дни стал он таким, или прежде она не замечала? Шлепает его лопнувшая калоша, и двух пуговиц на пальто не хватает. В подвале они оборвались? Или тогда на улице? Или еще до несчастья она так плохо заботилась о нем?.. Скоро, скоро будет все равно.

А Сережа будет жить. Жить — значит мстить!

Шура крепче сжала руку Василия Тихоновича. Раздалась барабанная дробь. Процессия свернула на площадь, и Шура закрыла глаза. Там, посередине площади, стоял помост, а на нем две виселицы. Как хорошо, что отец не может этого видеть.

— Я сдамся, — опять повторил Сережа. — Пускай лучше казнят меня, а не их.

В ящике радио-приемника послышался шорох.

— Тише, товарищи! — закричал кто-то. — Слушайте!

И вот в землянке, тихий и прерывающийся, раздался голос Шуры:

— Невидимка, Сергей Званцев! Это говорю я, Шура. Слушай меня! Если завтра до двух часов дня ты добровольно не сдашься, то нас с отцом повесят...

— Я сдамся! — в отчаянии закричал Сергей. — Шура, я сдамся!

— Сережа, — продолжал голос Шуры и, по мере того, как она говорила, голос крепчал. — Сережа, меня заставили выступить. Не сдавайся! Не сдавайся, Сережа! Мсти немцам за нас! Мы ничего не боимся. Слушай меня, не сдавайся!..

Страшный шум долетел из радиоприемника: словно там, откуда говорила Шура, что-то с грохотом уронили.

Голос Шуры захрипел и оборвался.

... — Не сдавайся, Сережа, — еще раз успела она закричать. — Проклятые!..

Послышалось немецкое ругательство и шум борьбы. Партизаны, вскочив с мест, окружили радио-ящик. Руки их судорожно сжимали оружие. Но то, что происходило там, у микрофона, было слишком далеко. Они могли только слушать, но помочь не могли.

Наконец, все стихло. А партизаны еще долго стояли у ящика. И только с пустого места раздавались приглушенные рыдания. Это плакал Невидимка.

Командир отряда повернулся к Сергею.

— Ты хотел сдать, сынок? — спросил он. — Что ж, видно, другого выхода нет. Но только, товарищи, вот что мы сделаем...

— Шурочка, — услышала она его голос. — Мне-то легко умирать. Я старик. А ты... Это я убил тебя. Прости меня!

— Папа, — тихо сказала Шура и открыла глаза. — Я сама поступила бы так же. Не надо плакать.

На площади стояли отряды немецких солдат, а между ними — насильно пригнанные горожане. Со всех сторон на Шуру с отцом смотрели глаза, полные скорби и жалости. Шура находила в толпе школьных друзей и преподавателей. Провожая Шуру глазами, они плакали, не обращая внимания на окрики и ругательства немцев. Но чем могли они помочь, эти дети и старые безоружные люди?

Шуру с отцом ввели по ступенькам на помост. Там, у помоста, в первом ряду стоял сам генерал, а за ним весь его штаб.

В стороне стоял Кнохе, стараясь изобразить печаль на лице.

По знаку фон-Швиммеля солдат Кнаус прикрепил Шуру и Василию Тихоновичу на грудь доски с надписью: „Я укрывал Невидимку и за это повешен“.

Генерал, повернув голову, посмотрел на большие квадратные часы на фасаде школы. Они показывали без двух минут два. И все глаза, устремленные до сих пор на помост, на приговоренных, на генерала, обратились к часам. Не отрываясь, сотни глаз следили за минутной стрелкой. Вот она дошла до самой верхней точки циферблата. Два часа!

— Начинайте! — махнул рукой генерал. — Сначала девочку, потом старика.

Стон пронесся по площади: солдат Кнаус накинул веревочную петлю на шею Шуры.

(Окончание следует).

Матвей Ефимов

рассказывает о себе

— Войну я начал с неудачи, — вспоминает Ефимов. — Вот как это было. Однажды перед закатом наши бомбардировщики летели в сопровождении звена истребителей.

Немцы встретили советские самолеты заградительным огнем зениток. Однако бомбардировщики прорвались сквозь него и начали сбрасывать бомбы.

Мне захотелось посмотреть, куда падают бомбы. Я засмотрелся на землю, а тем временем наши самолеты ушли.

Разрывы снарядов заставили меня насторожиться. Я поднял голову и увидел над собой два „Мессершмитта“. Я выпустил по ним два снаряда и удачно. Один „Мессершмитт“, охваченный пламенем, упал. Это был первый сбитый мною вражеский самолет. Вторым „Мессершмитт“ удра.

Теперь я остался один, далеко от аэродромов, в незнакомой местности. Горючее на исходе, немолимо и быстро наступает темнота. Что делать? Вот передо мной находится аэродром, но он поврежден, садиться нельзя. Решил идти к следующему, хоть это и далеко. Подлетаю и вижу: все горит, садиться нельзя. Продержаться в воздухе я могу еще всего несколько минут, а кругом болота и озера. Я пошел над речкой, надеясь на берегу ее найти какую-нибудь деревню, возле которой можно сесть. Вот, наконец, и деревня, а рядом маленькая поляна, засеянная рожью. Разворачиваюсь и иду на посадку. Сесть можно только на фюзеляж. Темно, место каменистое, если попаду на камень, разобью самолет. Но иного выхода нет.

Приземлился я довольно удачно, только губу разбил. Вышел из самолета, осмотрел его — повреждение небольшое. Когда улеглась пыль, я увидел, что со всех сторон окружен людьми. Ко мне бежали три почтенных седобородых старика, держа на перевес охотничьи ружья.

— Стой! — кричали они. — Ты кто такой?

Я объяснил, но мне поверили позже, когда пришло подтверждение, что я действительно советский летчик.

Потом я вернулся в полк, в свою эскадрилью.

Летали мы обычно втроем: Костылев, Сухов. Время было горячее, заданий получали множество, — охраняли с воздуха наши наземные войска, сопровождали штурмовиков. Делали по четыре вылета в день. И осенью и зимой.

Тогда-то я сбил больше двух десятков самолетов. Мы ходили парами: я всегда был ведущий, а ведомый прикрывал мой ход. Этим и объясняется, что сбивал обычно я, а не ведомый, — ведь я производил атаки.

Моим ведомым обычно был летчик Сухов. Я мог совсем не беспокоиться за хвост своего самолета, — я знал, что Сухов всегда меня защитит. Сколько летчиков спас своей преданной, верной защитой этот Сухов! Вся эскадрилья у него в долгу. Человек он простой, скромный и добрый. И в бою, когда нужно, он всегда тут как тут. Нет у нас ни одного летчика, который не был бы ему обязан жизнью. Ради друга он готов на любой подвиг.

Мы часто ходили на штурмовку немецких позиций — не сами штурмовали, а сопровождали и охраняли летчиков-штурмовиков.



Однажды мы встретили несколько „Юнкерсов“. Они шли гуськом, один за другим. Я атаковал первый из них, и после первой же очереди он взорвался. Через минуту я сбил и второго „Юнкерса“. Третьего сбил другой летчик нашего полка.

Как-то раз мы сопровождали штурмовики вечером, в сумерках. Какое это было зрелище! Потoki огня поливали темную землю. Деревья целиком взлетали в воздух. Машины, люди, орудия, бревна, ярко освещенные, — все превращалось в кашу, все заливалось огнем.

Вспоминается случай, почти невероятный по своему исходу. Мы вылетели на прикрытие наших войск. Нас было четверо и мы заранее знали, что в воздухе непременно встретим неприятельские самолеты. И, действительно, над линией фронта вертелись два „Мессершмитта“.

Мы атаковали их. Вдруг, откуда ни возьмись, появилось еще четыре „Мессершмитта“. Теперь их стало шесть против четверых нас.

Бой продолжался. Один „Мессершмитт“ загорелся и упал. Но и немцам удалось повредить один наш самолет. Нас осталось трое против пятерых.

Тут к немцам подоспело еще шесть „Мессершмиттов“. Их было уже одиннадцать, а нас по-прежнему оставалось только трое.

Но бой продолжался. Стал я осторожно с боем оттягивать нашу тройку на свою территорию. Мы защищали друг друга, и немцы ничего не могли с нами поделать.

К ним подошло новое подкрепление — еще пять „Мессершмиттов“. Теперь их было шестнадцать против трех. Они все сразу устремились на нас

в атаку, но атака была отбита и еще один „Мессершмитт“ рухнул.

Этот неравный бой продолжался сорок две минуты. И хоть немцев было в пять раз больше, они все же отступили. А мы трое вернулись на аэродром без потерь. Даже четвертый, поврежденный самолет на завтра был уже в строю.

Следующее утро памятно мне тем, что мне удалось выручить из беды моего друга Сухова, который столько раз выручал меня. Мы опять вылетели на прикрытие наших войск. День был облачный, туманный, в нескольких десятках метров ничего не видно. Вдруг я заметил „Мессершмитт“, который сзади исподтишка подкрадывался к самолету Сухова. А Сухов его не заметил.

Я помчался к „Мессершмитту“ наперерез и дал очередь прежде, чем он успел открыть огонь по Сухову. „Мессершмитт“ взорвался и упал на землю.

Однажды нам пришлось выдержать грандиозный бой. Утром на прикрытие наших войск вылетела восьмерка самолетов нашего полка, а я остался на аэродроме вместе с пятью моими товарищами, готовый вылететь на смену.

Сидя в самолете, я услышал гул, неравномерный, прерывистый. Я понял, что наша группа приближается с боем к аэродрому. Внезапно взвилась красная ракета — сигнал вылета. Мы шестером взлетели. Только набрали высоту, как увидели нашу восьмерку, возвращающуюся на аэродром без горючего и боеприпасов и вынужденную вести бой с непрерывно атакующими „Мессершмиттами“. Мы шестером атаковали „Мессершмиттов“ и дали возможность нашим товарищам спокойно сесть на аэродром.

Сначала мы видели только два „Мессершмитта“. С первой же атаки мы подбили один из них, и он заковылял прочь.

Но едва мы приблизились к линии фронта, как заметили восемь „Мессершмиттов“ и сразу вступили с ними в бой.

На шестой минуте боя к немцам на помощь подошло еще десять „Мессершмиттов“. Их восемнадцать, а нас всего шесть. В ходе боя мы сбили два „Мессершмитта“, но и немцам удалось повредить один из наших самолетов. Пришлось отправить самолет сопровождать его. Мы остались вчетвером против шестнадцати. Уйти нельзя: нужно во что бы то ни стало продержаться над фронтом час, чтобы немецкие бомбардировщики, ходившие где-то неподалеку, не могли бомбить наши войска. Мы решили умереть, но не уйти.

Мы держались вчетвером, непрерывно ведя бой, до тех пор, пока горючее у нас не стало иссякать. Нам удалось сбить еще два „Мессершмитта“, тогда мы стали с боем отходить к своему аэродрому. Вскоре нас осталось трое. Мы шли над водой, и вода под нами кипела от пуль, которыми поливали нас „Мессершмитты“. Немцы по-одиночке отставали от нас — у них тоже кончалось горючее, но восемь „Мессершмиттов“ продолжали нас упорно преследовать. У меня и у моих товарищей иссякли все патроны.

Немцы это сразу заметили и обнаглели. Мы продолжали огрызаться, имитируя атаки, но они, видя, что мы не стреляем, наседали.

Защищаться нечем, сбить их нечем, нужно идти на таран. Трижды шел я прямо в лоб на „Мессершмиттов“, пытаюсь протаранить их. Но „Мессершмитт“, всякий раз, когда я приближался к нему метров на десять, делал горку и уходил вверх.

Над берегом их встретила огнем наша зенитная артиллерия, и они, перестав нас преследовать, удрали, а мы втроем благополучно сели на аэродром.

Гвардии капитан Ефимов получил звание героя Советского Союза в середине лета. С золотой звездой на гимнастерке вернулся он из Москвы в свою эскадрилью. Летчики — друзья и соратники Ефимова — встретили героя на поляне среди высокой нескошенной травы. Зелеными ветками отмахивались летчики от комаров.

— Целые комариные эскадрильи, — пошутил Сухов.

— Я стал героем благодаря вам, товарищи, — сказал Ефимов. — Спасибо. В таком боевом коллективе, как наша эскадрилья, нельзя не стать героем.

— Нет, нет! — возразили летчики. — Только благодаря вам каждый из нас стал тем, кто он есть.

Трудно сказать, кто прав в этом споре. Прав Ефимов. Правы и его товарищи.



В землянке теснота. Под головой, как думка,
Скрипучей кожи полевая сумка.
Вполне, как другу, доверяю ей
Разнообразный мир моих вещей:

Артиллерийский круг, уставы, компас, карта,
Линейка, карандаш, очки, портрет жены
И нож, что подарил мне друг в начале марта, —
На фронте вещи разные нужны.

Круг направление дает на цель,
А верный компас вел в лесах досель,
А без очков, как крот, я был бы слеп,
А без ножа разрезать нечем хлеб,

Уставы учат действиям в бою,
Портрет напомнит родину мою.
Пока живу, пока еще я цел,
Линейка скажет: „по врагу прицел“.
Любая вещь на фронте дорога,
Когда нам помогает бить врага.

Лейтенант Н. Евстифеев





С. Хмельницкий

Рис. И. Астапова

Такая у нас служба, — сказал мой собеседник, командир зенитной батареи, — что иной раз прождешь гостей десять недель, а бой продлится десять секунд. И всё, чему тебя учили, всё, что есть у тебя за душой, — всё вложи в эти десять секунд. Одну секунду промешкал, растерялся — фриц уже проскочил через твой огонь и пошел пакостить.

А какие головоломки приходится решать в эти секунды... Вот послушайте.

Нынешним летом мы охраняли аэродром. Стоим в лесу, на берегу озера. На другом берегу его — немцы. Забрались мы в земляные норы, орудия прикрыты еловыми ветками. Тишина такая, будто нет никакой войны. Только слышно как рокочут, улетая и возвращаясь, наши морские бомбардировщики, как ели шумят, как шишки трещат, отрываясь от веток, и, падая, шуршат в хвое и стучат, ударяясь о землю.

Всё лето стояла такая тишина. Иной раз даже тошно становилось. Особенно, когда представишь себе, что там, за озером, в таком же вот лесу — их аэродром, — снаружи холмики, поросшие травой, внутри — пещерки, и в этих логовах, раскинув крылья, спокойно отлёживаются на брюхах мессершмитты и юнкерсы со своими рыбьими мордами и хвостами. А ты в это время должен ходить от орудий к телефону и от телефона к орудиям и смотреть на небо, — потому что один из фрицев, взглянув на часы, может быть, хлебнёт в последний раз кофе, наденет шлем, и ровно через пять минут — он уже у тебя над головой.

А может быть он полтора месяца будет пить кофе, и ты полтора месяца будешь прогуливаться от землянки с телефоном к орудиям, и смотреть на небо, и ни один захудалый фриц не появится в зоне твоего огня, но ты всё равно обязан в любую секунду быть готовым „тепло“ встретить „приятеля“.

До конца июля противник посылал в район нашей позиции только разведывательные са-

молёты, да и те пролетали на больших высотах.

В прошлом году по счету сбитых самолётов противника мы вышли на одно из первых мест на Балтике, а теперь нас обгоняли другие батареи. Ясное дело, было досадно.

На опушке, метрах в пятистах от нашей позиции, стоял дом с зелёной крышей. Там жил Калиныч, обходчик железнодорожных путей. Дочь его умерла, зять сражался на фронте и, когда Калиныч уходил на работу, внук его Коля вступал в исполнение обязанностей главы дома.

Главе дома было десять лет. Он носил воду, собирал хворост, чистил картошку, разжигал плиту, кормил и укачивал на руках двухлетнюю Ирочку.

У Калиныча была корова, и я приходил к нему пить молоко.

За лето я успел полюбить старика, деловитого Колю и беловолосую Ирочку, которая, завидя меня с бидоном для молока, кричала корове, что паслась на полянке:

— Маска, Маска, иди домой.

Однажды ночью нам позвонили с командного пункта дивизиона и сообщили: „Эскадрилья наших бомбардировщиков „ПЕ—2“ вылетела с одного из фронтовых аэродромов для выполнения боевого задания и в ноль часов с минутами пройдет через район нашей батареи на высоте одного километра. Сигнал: „Я — свой“ — две белых ракеты, одна красная.“

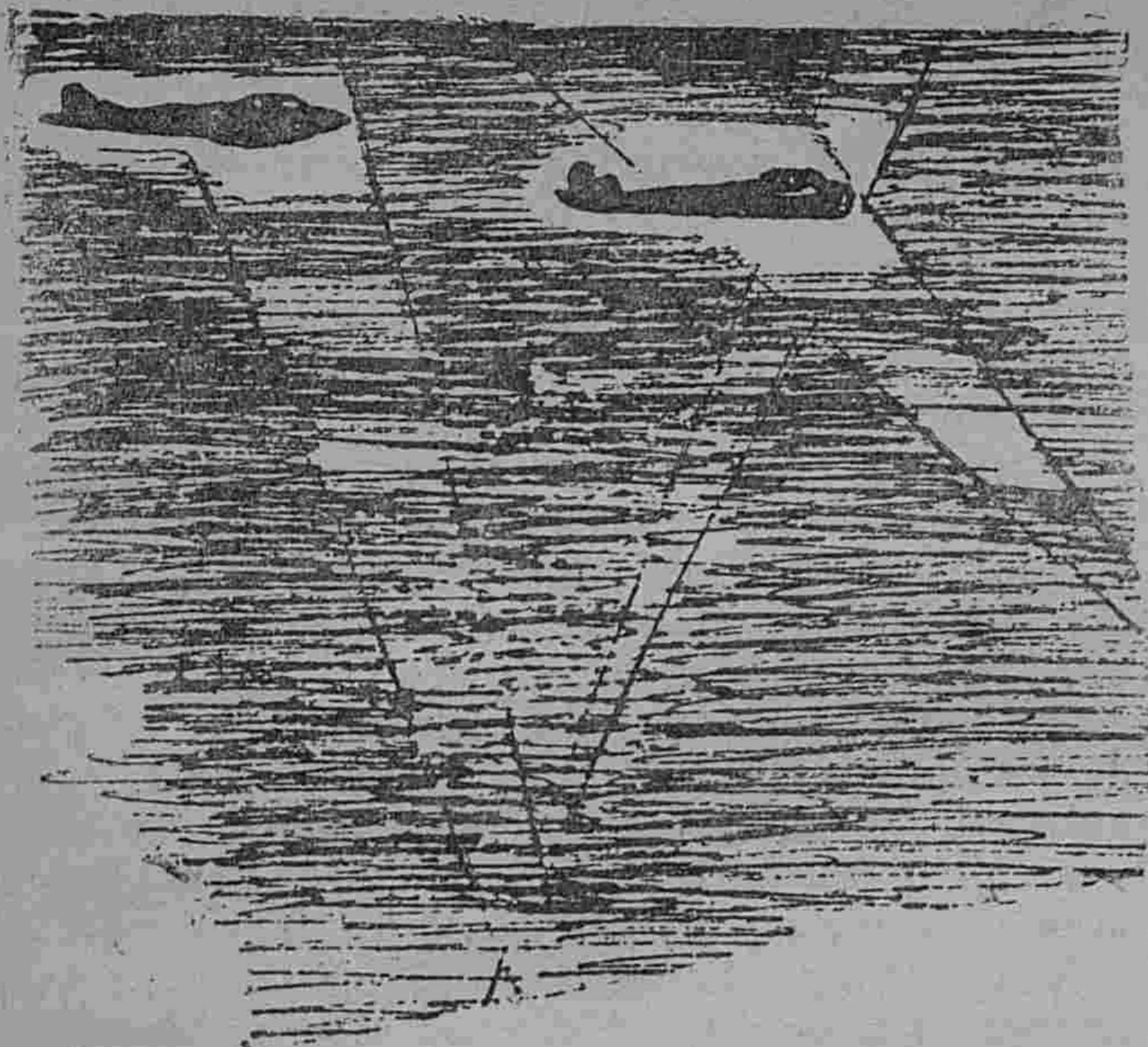
Точно в указанное время вахтенный разведчик (это был Фокин, считавшийся лучшим разведчиком на берегу, — мы его называли: „Глаза и уши Балтики“) донес, что с востока, откуда ожидалось появление наших самолётов, слышен шум мотора.

Я тотчас же вышел из своей землянки, и Фокин, не пропустивший до этого дня ни одного самолёта неопознанным, с некоторым колебанием в голосе рапортовал мне, что определить по шуму тип мотора он затрудняется, но только это не „ПЕ—2“.

Я прислушался и уловил звук, который ничем по моему впечатлению не отличался от шума „ПЕ—2“. Но „Глаза и уши Балтики“ был уверен в обратном.

Из осторожности я скомандовал: „Готовность один.“ Захлопали двери кубриков, и тотчас же все люди заняли свои места у механизмов. И в это самое время из землянки вынырнул мой помощник, который доложил, что по сообщению нашего батарейного наблюдательного поста вражеский самолет неопознанного типа идет с востока, курсом на нашу батарею.

Тогда я приказал нашим прожектористам осветить самолёт и прильнул к биноклю.



Луч, скользнув по восточной части неба, вырвал из мрака облака, на фоне их самолёт, похожий на „ПЕ—2,“ и вежливо его спросил на своем языке: „Кто ты такой?“ Тотчас же с соседних прожекторных станций к облакам на востоке потянулись другие лучи. Мой дальномерщик быстро измерил дальность и высоту облучённого самолёта, наводчики прибора поймали его в перекрестье монокуляра, и жерла орудий плавно повернулись в сторону цели.

Самолёт ничего не ответил на вопрос прожекторов. Больше раздумывать было нечего. Я скомандовал:

— При входе в зону досягаемости — огонь!

Едва только забабахали мои зенитки, как лучи, продолжавшие шарить в облаках, выхватили из темноты второй самолёт, шедший позади первого, и, скрестившись на нём, задали ему тот же вопрос.

Второй самолёт немедленно ответил: „Я — свой“ — две белых ракеты, одна красная. И мгновенно такие же ракеты выкинул первый самолёт.

Только я собирался скомандовать: „Прекратить огонь,“ как „Глаза и уши Балтики“ громко крикнул:

— Верхнее расположение крыльев... „Дорнье—215“!

И в это самое время из-под земли снова вынырнул мой помощник и, надрывая горло, чтоб перекричать грохот зениток, доложил:

— Товарищ старший лейтенант! Звонил сам товарищ майор: опознал „ПЕ—2“ и видел сигналы. Приказывает прекратить огонь и об исполнении доложить.

Приказ—есть приказ, и я кричу: „Прекратить!“ Орудия сейчас же умолкают, и помощник кубарем катится в землянку, чтобы доложить майору. А я хватаюсь опять за бинокль, потому что „Глаза и уши Балтики“ все-таки опознал „Дорнье“.

Смотрю, не отрываясь в бинокль, — и вот вижу: точно, у первого самолёта крылья расположены сверху, это — „Дорнье“! А у второго самолёта — крылья снизу, это — „ПЕ—2“.

Если вы видели на рисунках „Дорнье“ и „ПЕ—2“, то, конечно, заметили, что они похожи друг на друга. Только у нашего бомбардировщика — нижнее расположение крыльев, у немца — верхнее. Мы оба — я и разведчик — смотрели навстречу машине и потому видели крылья, а майор со своего „НП“, расположенного позади нас, смотрел машине вслед и видел хвост, хвосты же у обеих машин схожи. „Дорнье“ еще ни разу не появлялся в нашем районе, и удивительно, что шум его мотора был знаком моему разведчику.

Дело было ясное: немец заметил сигнал, поданный с нашего самолёта, и повторил его.

— Огонь! Темп пять! — команду я, и кричу вслед помощнику, который как раз добежал до ступенек и сейчас нырнет в землянку:

— Петров, доложите майору: „опознал „Дорнье — 215,“ веду огонь“.

Наши зенитки опять забабахали, ещё ча-



ще, чем раньше. „Дорнье“ под углом сорок пять градусов ринулся прямо на нас.

И вдруг я увидел красные звёзды на его крыльях, и тотчас же самолёт, подбитый нашим залпом, окутался дымом и стал падать.

В лучах прожекторов было видно, как от самолёта отделились два небольших тёмных пятна: лётчики выбросились на парашютах. Потом самолёт вспыхнул, громадным крутящимся факелом полетел вниз, и раздался взрыв.

Все, кто наблюдал за самолётом, были ошеломлены. Я скомандовал прекратить огонь.

Я стоял и смотрел на разведчика, а он — на меня. „Глаза и уши Балтики“ снял свою бескозырку и вытирал рукой лоб, покрывшийся потом. Никаких сомнений в том, что мы видели „Дорнье“, у меня не было. Но звёзды? Конечно, это могла быть военная хитрость. И всё-таки что-то щемило у меня в груди.

Все смотрели на меня и у всех во взгляде был вопрос: победа или катастрофа? Я был уверен, что победа, но это нужно было еще доказать.

Я доложил обо всём по телефону в дивизион, но самого майора на командном пункте не оказалось: он выехал ко мне на батарею.

Выйдя навстречу, я услышал, как к проволочному заграждению подъехала машина и хлопнула дверца, часовой распахнул калитку. Майор вошел, увидел меня и, не дав мне времени рапортовать по форме, строго спросил:

— По какой цели вели огонь?

Я ответил:

— По „Дорнье — 215“, — товарищ майор.

— Нужны вещественные доказательства, — сказал майор и пошел к моей землянке.

Майор был убежден в том, что самолёт, появившийся над батареей, был „ПЕ — 2“. Он лично сообщил мне об этом и приказал прекратить огонь. Но я возобновил огонь и сбил самолёт.



Мы вошли в землянку, я доложил обо всех обстоятельствах боя и просил разрешения отправиться в разведку.

— Я буду руководить разведкой, — сказал майор.

Он развернул на столе карту, провёл по ней карандашом от позиции нашей батареи в ту сторону, куда упал самолёт, прямую, потом отметил кружками пункты расположения соседних воинских частей, которые должны были наблюдать падение самолёта и могли помочь нам поймать парашютистов. На нашу долю майор выбрал берег озера от батареи до аэродрома.

Пустились в путь. Шли мы берегом. Вскоре из лесу на нас пахнуло гарью. Мы подумали, не горит ли там лес, подоженный упавшим самолетом? Двинулись на дым. Вышли на поляну перед домом Калиныча.

Посреди поляны тлел костёр. Вокруг него, головами в огонь, валялись голые истерзанные тела. Мы вышли из-за деревьев, наклонились над мёртвыми. Я поднял с земли крохотное тельце и узнал Ирочку.

У неё были три ножевых раны в шее.

Рядом с Ирочкой лежали Калиныч и Коля. Они были брошены головами в костёр.

Всей семьёй сидели они у костра и пекли картошку на углях, когда на них напали. Картошка еще не обуглилась.

Мы стояли молча. Я ни на кого не смотрел. Мне было трудно дышать, у меня вспотели ладони и, вероятно, выражение моего лица было страшным, потому что, когда я взглянул, наконец, на своих краснофлотцев, то увидел, что они смотрят на меня очень внимательно и вместе с тем робко.

Я отвернулся и увидел, что майор наклонился, поднял что-то с земли и поднёс к углям. Это был нож. Майор осмотрел его и протянул мне.

Это была обыкновенная финка. На ее дубовом черенке была вырезана фамилия владельца.

Я тоже поднес нож к углям и прочел: „Умма“.

Умма — так звали человека, который сделал это.

Мне опять стало душно, я расстегнул ворот кителя и сказал:

— Теперь, товарищ майор, вы уже не сомневаетесь!

Но майор и теперь сомневался:

— Нож обронил финн или немец. Но кто он такой? Может быть, лётчик А может быть, и какой-нибудь диверсант, пробравшийся в лес.

Конечно, майор был прав. Но все-таки казалось сомнительным, чтобы поблизости от того места, где упал фашистский само-

лёт, в это самое время оказался еще и немецкий диверсант.

И я стал тщательно обыскивать окрестность. Я был уверен, что где-нибудь поблизости должен отыскаться и парашют.

Разведчики мои сновали, как добрые ищущие. Один из них забрался на дерево, я услышал его возню в ветвях и восклицания. Он что-то волок, ломая ветки, потом тяжело спрыгнул на землю. И, наконец, два краснофлотца, запыхавшиеся и счастливые, поднесли к самым глазам майора и моим обрывок шёлковой ткани.

При свете моего электрического фонарика мы разглядели голубой кружок, в нем — номер и немецкие буквы: „Штуттгарт“, и еще какие-то слова — вероятно, название фирмы. Мы не успели их разобрать, потому что в это время со стороны озера раздался выстрел и крики, и мы бросились к берегу. Нож и шёлковый лоскут так и остались у меня в руке.

Я первым выбежал из-за деревьев и увидел такую картину: несколько красноармейцев, шагая по колено в воде, ведут немца, один тянет к берегу надувную резиновую лодку, другие бегут берегом, а впереди, навстречу мне, бежит фашист и, оборачиваясь, на бегу отстреливается из автомата.

Я бросился ему наперерез, обхватил его обеими руками и тотчас же был им с налёту опрокинут на землю.

Он был, пожалуй, на голову выше и много тяжелее меня. Торопясь покончить со мной прежде чем его окружают, он коленом придавил мне грудь, одной рукой стиснул мне горло, а другой потянулся к ножнам, висевшим на поясе. „Ну, — подумал я, — каюк!“

Но рука у ножен почему-то замешкалась. Задыхаясь, собрав все силы, я вцепился в неё, притянул фашиста к себе и вонзил ему нож в горло.

Рука, сжимавшая мне горло, разжалась, фашист обмяк и повалился набок, головой вперёд. Я вскочил и наклонился над ним с фонариком. Сбежавшиеся с двух сторон зенитчики и красноармейцы уже обступили нас.

Передо мной лежал белобрысый немец без шлема. Рядом валялся брошенный им автомат. Ножны, висевшие у немца на поясе, были пусты и на них было вытиснено золотом — „Карл Умма“.

Так нож, оброненный в лесу хозяином, вернулся к нему.

Я взял нож, вытер его о траву, завернул в обрывок парашюта и протянул майору, который теперь смотрел на меня ласково.

— Товарищ майор, представляю вещественные доказательства.

НАХОДЧИВЫЙ СИЛАЧ



Штык, сабля, нож, даже лопата — все это испытанное оружие рукопашных схваток.

Но если воин находчив, если он силен и ловок, он сможет отразить нападение врага палкой или... даже щеткой.

Вот какой случай произошел во время бординской битвы.

Во время боя на одной из батарей своего корпуса оказался начальник артиллерии генерал Костенецкий. Бравый артиллерист в дыму и грохоте сражения не заметил как французские кавалеристы подскочили совсем близко и стали уже окружать его.

Мгновение — и генерала могли поранить, обезоружить, схватить. Как отразить одному человеку нападение целого отряда врагов?

Можно было выхватить саблю и начать ею рубить французских всадников. Можно было схватить ружье и колоть французов штыком. Но беда была в том, что генерал был пеший, а его враги — конные. Да и времени, чтобы выхватить саблю, взять ружье у генерала не было. Медлить нельзя было ни секунды.

У Костенецкого в руках был банник — длинная палка со щеткой на конце — ею артиллеристы прочищают пушки. И вот генерал стал орудовать банником. Одним сильным ударом он оглушал конного француза по голове, другим — выбивал врага из седла. Удары были так мощны и стремительны, что отряд наседавших на артиллериста врагов стал быстро редеть.

Но удары Костенецкого — он был человеком огромной силы — были так могучи, что его „оружие“ не выдержало: банник сломался. Тогда Костенецкий схватил другой банник и снова разил французов так же стремительно и наверняка.

Новое „оружие“ — банник понравилось генералу. После окончания битвы он подал рапорт начальству, где просил деревянные банники заменить чугунами, чтобы новое оружие не ломалось.

Но этого все же не сделали. И не потому, что не верили в надежность банника как оружия. А только потому, что опасались, что мало найдется силачей, способных управиться с банником из чугуна.

О СМЕЛЫХ И ОТВАЖНЫХ



ОТВАГА И РАСЧЕТ

Евгений Федоров

Красноармейца Василия Путчина знает вся наша страна — ведь он отважный истребитель немецких танков: он подорвал и уничтожил тридцать семь вражеских танков.

Танк — это как бы подвижная, одетая в броню крепость. Ее орудия и пулеметы несут огонь и смерть. Разрушить танк, вывести его из строя можно особыми бронебойными пушками. Но иногда люди, отдельные бойцы, выходят на неравный бой со стальным чудовищем — танком. И если человек отважен, храбр ловок, — он побеждает бронированную машину. Таким смелым богатырем, дерзнувшим победить танк, и является красноармеец Василий Путчин. Вот что рассказывает он сам о своем первом поединке.

— Признаться, в первый раз у меня не было твердой уверенности в победе. Мне было страшно, когда танки приближались к нашим окопам.

Но не тот храбр, кто ничего не боится, а тот, кто умеет побеждать чувство страха. И Путчин сумел побороть себя. Он взял связку гранат, точно рассчитал свой бросок и гусеница немецкого танка была подорвана. Танк вышел из строя.

Снаряды танка достают того, кто находится далеко от танка. А тот, кто приблизится к танку, тот находится в безопасности: ни пули, ни снаряды не ложатся вблизи — в „мертвом“ пространстве. Это хорошо понял Путчин уже в первом поединке.

Первый успех окрылил Путчина. Ему понравилось это дерзкое опасное дело и он стал замечательным истребителем. И всегда он возвращался с победой.

В старое время про Василия Путчина непременно сказали бы:

— Экий счастливый человек, и здорово же ему везет!

Но дело, конечно, не в счастье. Не счастье и удача приносят смельчаку победу, а расчет, отвага, упорство.

Каждый раз после боя Путчин внимательно осматривает место схватки, тщательно изучает подбитые танки. Он замечает, куда попали гранаты, с какого места он лучше всего попал в цель, где следует искать себе место для засады. Но, кроме того, Путчин постоянно упражняется и совершенствует свой бросок. „Игра в кольцо“ ежедневное и любимое занятие Путчина.

— Всюду за собой я вожу двухкилограммовую гирию и деревянное кольцо, — рассказывает истребитель. — Кольцо, размером немного более пулеметного диска, я подвешиваю на высоте полутора метров. И потом бросаю в него с разных дистанций гирию. Тренируюсь до тех пор, пока не сделаю десять попаданий.

Теперь все в подразделении знают, что дело не в счастье Путчина, а в его хладнокровии и в терпеливой тренировке.

ТРИ ГВАРДЕЙЦА

Леонид Кронфельд

Ее принес с собой в вещевом мешке студент театрального института Леонид Махлин. С тех пор книга о приключениях трех никогда не унывающих друзей, „Трех мушкетеров“, неизменно сопровождала гвардейцам в их походах. Бойцы так сроднились с героями Дюма, что они стали казаться им живыми людьми, хорошими знакомыми.

Самого владельца книги гвардейцы прозвали д'Артаньяном. И он действительно походил на этого героя Дюма своей ловкостью, находчивостью и лихостью. А товарищей Махлина — слесаря огромного, могучего Петра Лаврентьева и всегда хладнокровного пулеметчика Николая Севастьянова прозвали Портосом и Атосом. Но стоило трех товарищей назвать „Тремя мушкетерами“, как они неизменно начинали сердиться. „Три гвардейца“, — поправляли они.

Однажды взвод, в котором находились товарищи, окружили немцы. Враги били из автоматов и пулеметов. Бойцы, отстреливаясь, засели на опушке леса. Их ряды быстро редели. Случилось так, что живыми остались только „Три гвардейца“.

Выдержат ли трое натиск батальона фашистов? — Выдержим, — сказал Севастьянов.

Молчаливое согласие двух товарищей было ему ответом. Надо было выдержать.

Но вдруг Махлин — недаром его называли д'Артаньяном — взволнованно закричал:

— Забыли, как мушкетеры поставили убитых у амбразур и этим обманули врага? Ну, а мы прислоним убитых к деревьям. И Махлин первый побежал к мертвому старшине.

Через несколько мгновений у каждого дерева стояло по мертвецу. Немцы были поражены. Казалось, они перебили всех этих русских. Но вот теперь за каждым деревом снова стоит боец.

В замешательстве немцы остановились. Но властный окрик офицеров заставил их снова идти в атаку. И они шли, поливая все кругом свинцовым градом. Их пули, правда, не приносили мертвым вреда, но не щадили они и живых. Уже замертво упал Петр Лаврентьев, за ним Николай Севастьянов. Махлин поднял мертвые тела своих товарищей и поставил их в ряд с другими бойцами. И наконец пуля смертельно ранила его. Тогда Леонид Махлин вышел вперед и, прислонившись к плечу мертвого Лаврентьева, из последних сил послал автоматную очередь.

В это время подошла рота наших и бросилась на немцев в атаку. Гитлеровцы побежали.

Когда стихли последние выстрелы, наши бойцы увидели, что защитники все мертвы. У каждого дерева стоял убитый. Некоторые из них сжимали в руках автоматы и, казалось, все еще грозили врагу. Это был бастион более славный, чем тот, о котором рассказано в „Трех мушкетерах“.

★

★

История войн знает такие времена, когда единственным оружием боя были меч, топор, сабля.

Тогда, чтобы защитить себя от удара, люди надевали на голову шлем, а грудь прикрывали панцирем и щитом. Но оставались легко уязвимые плечи. И для их защиты воины на своей одежде стали носить металлические пластинки.

Эти пластинки стали называть „эполетами“, что в переводе с французского означает — „наплечники“.

Такие металлические наплечники сохранились до настоящего времени во многих кавалерийских частях. И это понятно: именно в этих войсках до сих пор употребляют еще холодное оружие: например, сабли и палаши.

Со временем, когда холодное оружие уступило место более совершенному—огнестрельному, необходимость в металлических эполетах отпала. Но эполеты все же остались. Правда, теперь они были уже не металлические. Эполеты из материи разных цветов, иногда богато украшенные золотым и серебряным шитьем, с галунами и шнурками, с разными знаками—вензелями, цифрами, эмблемами—служили теперь иным целям. По цвету, форме эполет и по значкам на них стало легко определить звание, должность, специальность, род войск, к которому принадлежал боец. А под эполетами стали пропускать разные ремни, чтобы они не спускались с плеч.

Такова история эполет, которые в некоторых армиях, например, во французской, до сих пор остались обязательной принадлежностью парадной формы командира.

Иное происхождение погон. Они появились тогда, когда в армии ввели гранаты.

Первые гранаты были очень несовершенны. Бросить гранату во врага было довольно хлопотливо. Солдат-гранадер, так звали первых гранатометчиков, заряжал



гранату правой рукой, а в левой держал подожженный фитиль. Потом, воспламенив гранату, он бросал ее как можно дальше. Бросая, он сильно размахивался рукой. Так сильно, что треугольная шляпа часто падала на землю, — гранадер задевал ее рукой, а ремень от сумки с гранатами съезжал с плеча. Во время броска гранаты у гранадера обе руки были заняты. А что было делать с ружьем?

И вот треугольную шляпу гранадера заменили высокой шапкой в виде сахарной головы. Такая шапка не мешала резкому броску. Ружье стали закидывать за спину. А чтобы ремни от сумки с гранатами и от ружья не сползали с плеч, их стали пристегивать суконной полоской или шнурком на плече и застегивать у ворота. Эти полоски из сукна и шнурки и были первыми погонями.

Это простое и удобное приспособление — погоны—вскоре переняли другие роды войск. И так же, как и эполеты, погоны стали делать разных цветов. Так, в пылу боя каждый солдат мог легко увидеть своих товарищей, а после своей части. И так же, как на эполетах, на погонах вскоре появились цифры, значки, вензеля. У артиллеристов, например, до сих пор остались две скрещенные пушки. На погонах были иногда такие знаки, которые на-

поминали воину о славных делах его полка, которыми он был вправе гордиться. Разве вензель знаменитого полководца, изображенный на погонах гранадер фанагорийского полка имени Суворова, не наполнял сердце каждого солдата гордостью за то, что он продолжает дело героя, прославившего русское оружие. При взгляде на буквы „А“ и „С“, вспоминая подвиги Суворова, слушая рассказы о солдатском отце, как называли Суворова, каждый солдат этого полка старался выполнять его заветы, хоть немного походить на него...

Так погоны стали со временем эмблемой воинской чести и дисциплины. Высокая воинская дисциплина всегда была присуща русской армии. И Красная Армия, преемница лучших русских военных традиций, имеет не меньшее право гордиться своими погонями.

Погон на плече рядового как бы говорит: этот человек вступил в новую семью, с новыми порядками и требованиями. Их он обязуется свято выполнять, всегда и везде, как того требует воинский долг. И понимая всю ответственность, боец сделает все, чтобы не уронить, а еще выше поднять честь своего полка.

Наступит день, когда рядовой получит на свой погон первую лычку ефрейтора. Это означает: он теперь старший среди равных ему в правах рядовых. Это первое отличие и боец будет дорожить им, чтобы не потерять его. А золотые погоны командира! Они ко многому обязывают воина...

Двадцать пять лет тому назад Красная Армия отказалась от погон, потому что их запятнали реакционные офицеры, начавшие борьбу против Советской власти.

Но с тех пор прошло двадцать пять лет. Подвиги, совершаемые и совершенные Красной Армией, достойны подвигов наших предков. И пусть погоны наших рядовых и командиров напомнят нам о тех славных и доблестных русских героях, которые беззаветно отстаивали честь своей родины.

Вход в Орду

В. Дружинин

Рис. С. Мочалова

Фрунзе слушал штабиста, пощипывал короткую бородку, черной рамкой окаймлявшую его лицо, и хмурился.

Армия прошла сотни верст, преследуя врага, и теперь оставалось вступить в Крым, разгромить последний оплот Врангеля. Но явилось неожиданное препятствие. Зима в 1920 году выдалась ранняя, подул северо-восточный ветер, вода в Сиваше поднялась, подступала к перешейку и стала заливать броды. А по этим бродам — во фланг перекопским укреплениям врага и надо переправить войска, надо вести наступление. Две дивизии уже перешли Сиваш, уже штурмуют Перекоп. Как поддержать их? Как перевезти остальные дивизии?

Командующий знает — есть люди в его штабе, которые считают, что нужно отказаться от наступления, остановиться здесь — в преддверии Крыма, закопаться в землю, отложить штурм до весны. И этот штабист так думает, хоть и не говорит прямо.

— Снимите шинель, — обратился Фрунзе к штабисту. — Где вы так искупались?

— Вы бы посмотрели, — ответил штабист, — взбесился Сиваш. Старики не помнят такой погоды.

Фрунзе встал:

— Следить за бродами.

— Слушаю.

— Держать связь. При наступлении...

— Вы настаиваете?

— На чем?

— Через Сиваш пойдём?

— Да. Наступаем.

— Но, Михаил Васильевич. Мое мнение вы знаете... Следовало бы поговорить еще со специалистами. В кавалерийской, например...

— Да-да. Я туда еду, — нахмурился Фрунзе.

Командующий вышел. Ветер швырнул ему в лицо горсть песка, сухого и холодного, как снег. Песок, прибитый дождем, покрывал переднее стекло автомобиля. Шофер обтер стекло. Машина покатила по шоссе, которое рассекало черную осеннюю степь и поворачивало вдоль берега Сиваша на юг.

Через несколько минут машина командующего нагнала прохожего. Подросток

с узлом, с сапогами через плечо шлепал по грязи босыми ногами.

Фрунзе посмотрел на его красные ноги и окликнул:

— Эй, садись.

Подросток замялся.

— Испачкаю вас.

— Ничего. Садись.

Парень сел на подножку, начал натягивать сапоги. Фрунзе поторопил:

— Давай скорей.

— Я, чтоб не испачкать.

Обулся. Влез.

— Куда идешь?

— К командиру.

— К какому?

— К самому главному, — промолвил подросток. — Меня отец послал.

— Зачем?

— Вы тоже командир? Можно вам сказать? Отец больной лежит. Иди, говорит, до самого главного красного командира. Красное войско через Сиваш идет. А ветер — вон какой. Мне, говорит, не выбраться из хаты — ты проводником пойдешь.

— Ты знаешь дорогу?

— А то? Мы с папкой сколько раз ходили через этот самый Сиваш.

— Как зовут тебя?

— Грачев Константин.

— Вот что, товарищ Константин Грачев, — сказал Фрунзе и достал записную книжку. — С этой бумажкой пойдешь вон в то село, спросишь штаб.

— А как сказать — от кого бумажка?

— От Фрунзе.

И оставив на дороге парня, помятая, забрызганная грязью машина командующего двинулась дальше, к степной балке.

Наступать! Какое это замечательное слово! Теперь, после разговора с простым русским парнем, это слово так легко произносить.

Вот и балка. Машина остановилась. У стога, на краю балки, стоял стреноженный конь. К теплому, подрагивающему его боку прислонились два бойца. Они кутались в потрепанные шинели, жадно курили.

— Холодно? — спросил подошедший к ним Фрунзе.

Бойцы вытянулись.

— Пробирает, товарищ командующий, — сказал один. — Ничего, в Крыму отогреемся.

— Правильно.

Командующий спустился в балку. Здесь дул холодный, пронизывающий ветер. Костры неяркие, осторожно разведенные, дымилась там и сям. Люди в ветхих залатанных шинелях жались у этих костров. От ветра и от дышащих жаром угольев краснели утомленные, поросшие колючей щетиной лица. И, казалось, конники расположились здесь, в балке потому, что выбились из сил после тысячеверстного перехода.

Но вот Фрунзе заговаривает с ними о наступлении, о предстоящем марше через Перекоп, о неминуемом разгроме Врангеля. И люди точно преображаются: серая пыль усталости сходит с их лиц.

Нет, — велика еще сила красных бойцов. Они готовы идти в Крым. Готовы наступать. Решение командующего — это их решение. Фрунзе переходил от одной группы бойцов к другой, и все бодрее, веселее звучало, срываясь с его губ, смелое слово — наступать. И бойцы подхватывали его, повторяли, оно отдавалось по всей балке.

Уже смеркалось, когда Фрунзе поехал обратно. Ветер дул с прежней силой. Гнал мелкую, пенистую волну. Похоже было, что вся соль поднялась со дна Сиваша — гнилого моря, и своей пенистой гущей покрывает песчаные отмели, топит камыши, ползет к самому шоссе. Пусть так. Но бойцы храбро вступят в эти разбушевавшиеся воды и проводники-добровольцы поведут их на ту сторону. На врага. Диви-

зия за дивизией пойдут туда — на поддержку переправившимся войскам. Все силы стягиваются здесь для мощного удара по врагу, чтобы довести наступление до победы. Так побеждал Сталин — под Царицыным, где поражение многим казалось неизбежным, на Украине, где красные войска решительным броском опрокинули вооруженные полчища Деникина. Так Сталин учил побеждать.

Так стремился воевать Фрунзе. Разве под Уфой, переправившись через реку Белую, войска не приняли удар во много раз сильнее противника? Фрунзе подтянул резервы и сам повел тогда своих бойцов вперед, в новую атаку. Фрунзе верил: бойцы не отступят перед решающим боем.

И он выиграл бой — Уфа была взята.

И теперь надо также взять Перекоп.

Перешеек весь еще в старину был перекопан рвами — оттого и получил свое название. А турецкое его название — „вход в орду“. Сейчас — это вход во врангелевскую, белогвардейскую орду. И снова враги — белые — постарались сделать этот перешеек неприступным. Не поможет. Красные дивизии одолеют Сиваш, ударят во фланг...

У себя, в кабинете штаба, Фрунзе взял пачку телефонограмм. Они сообщали, что сражение разгорается. Переправившиеся части снова и снова штурмуют Турецкий вал. В одном месте белогвардейцы потеснили красных. Враг защищается упорно. Нельзя дать врагу передышки. Фрунзе диктует приказ: пятьдесят второй дивизии — той, что вгрызается в пояс перекопских укреплений — в третий раз атаковать и взять Турецкий вал. Седьмой кавалерийской дивизии, что расположена поблизости в балке и ждет приказа командующего — переправиться через Сиваш.

— Михаил Васильевич?

Сзади стоял штабист.

— Это вы? Ну, как броды?

— Наших теснят, товарищ командующий, вы знаете?

— Знаю, — ответил Фрунзе. — Говорю — вам — пройдем. Вы знаете, как называли Перекоп? „Вход в орду“. Войдем и мы в орду. Побежит от нас орда. Через весь Крым, к самому морю.

В это время по бродам, залитым соленой пеной, двигались на юг войска. Шли конники, шли пехотинцы, шли артиллеристы. Шли, чтобы вернуть Крым в семью советских земель.



Удостоиться звания почетного доктора Кембриджского Университета — действительно почет для ученого. Десятилетиями и даже веками его оказывали лишь тем, кто подарил человечеству что-то по настоящему ценное, свое, новое. И все эти долгие годы вручение диплома происходило согласно раз навсегда установленному, незыблемому ритуалу. Но дважды — только дважды за всю историю мировой науки — он был нарушен.

Торжественный акт посвящения подходил к концу. Крупнейший физиолог двадцатого столетия — Иван Петрович Павлов — в диковинном наряде средневекового ученого шел вдоль просторного прохода, как вдруг с потолка спустилась большая игрушечная собака, украшенная трубками и кранами, и чуть не упала ему на голову. Павлов обеими руками поймал свалившийся с неба подарок. Посмотрев на хоры, он увидел улыбающиеся ему лица студентов. Один из них держал в руках остаток той веревки, к которой была привязана собака.

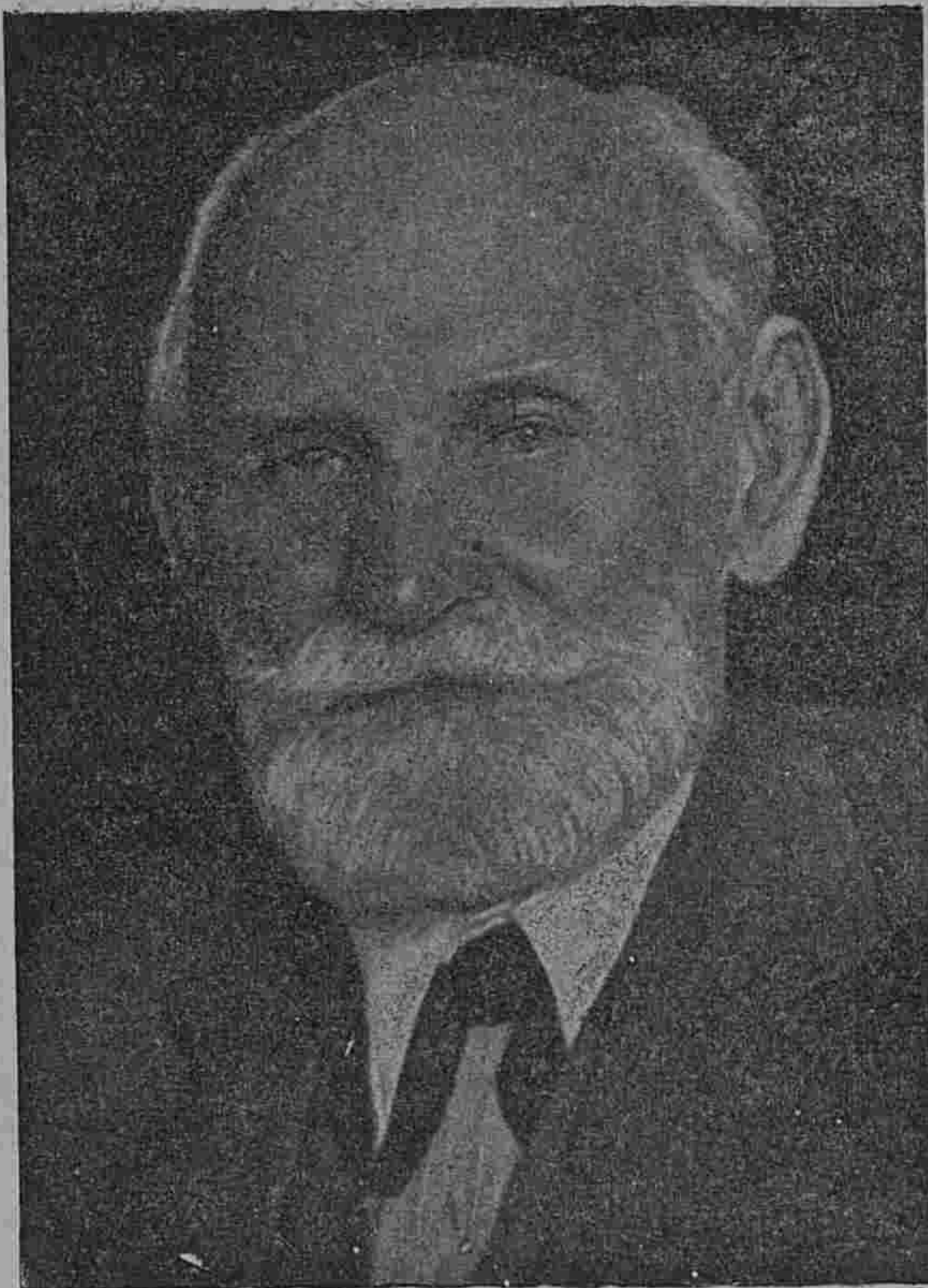
Иван Петрович слышал как кто-то, одетый в красную мантию, сказал:

— Это Чарльз Дарвин — внук нашего Дарвина. Тридцать лет тому назад мы, студенты, в такую же значительную минуту, вот так же на веревочке спустили его великому деду игрушечную обезьянку...

Так в 1912 году имя Павлова было поставлено рядом с именем Дарвина — честь еще более высокая, чем самое высокое научное звание.

Из всех физиологических процессов — процесс пищеварения — самый сложный — дольше других оставался неизученным. Когда вооруженный скальпелем врач рассекал мертвое тело, он видел лишь остановившиеся детали бездействующей машины и не мог постичь ни состава соков, перерабатывающих пищу, ни последовательности работы выделяющих эти соки желез.

Правда, знаменитый физиолог Грааф еще в XVII веке наложил собаке искусственную фистулу, то-есть сделал в стенках брюшины отверстие, через которое желудочный сок выливался наружу. Эту попытку „пробуравить“ в живом теле „наблюдательный глазок“ ученые повторили лишь в середине XIX столетия. Их труды дали много новых сведений, но сок, который они собирали через вшитую в стенки желудка трубку, был не чистым, достать его можно было не во всякое время, главное же — пищеварительный канал подопытного животного



ИВАН ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ

был искалечен. Изучать нормальный ход жизни на больном так же бесполезно, как изучать его на мертвом, а заглянуть вглубь здорового, цельного организма невозможно.

Однако, Павлов доказал обратное.

Павлов не вшивал в живые ткани ни свинцовых, ни резиновых трубок. Он перекраивал эти ткани, перекраивал целые органы и делал это столь искусно, что работа пищевого канала не нарушалась. Фистула же была постоянной, так что ученый мог приступить к исследованию тогда, когда животное уже успело поправиться, когда весь его организм вернулся к норме. Так упрямый, неутомимый, зоркий, еще совсем молодой ученый научился следить за скрытой работой жизни, подобно тому как машинист по манометру следит за давлением в котле пара.

Собака жадно хватала хлеб и мясо, а стоявшая перед ней миска оставалась полной, как в сказке. Однако, заколдованной была не миска, но собака: каждый проглоченный ею кусок вываливался обратно, — в шее у нее была дырка. Она же,

снова и снова глотала столько раз побывавшую во рту пищу. Тем временем подвязанный к брюху цилиндр наполнялся прозрачным соком. Несколько человек с часами в руках следили за уровнем янтарной жидкости.

— Мнимое кормление, — сказал старший из них, Иван Петрович Павлов.

Да, мнимое кормление: у собаки был перерезан пищевод, и в желудок не попало ни единого грамма хлеба или мяса. Все же скрытые в стенках желудка железы выделили кислый сок. Значит, неверно, будто сок этот вырабатывается только тогда, когда слизистая оболочка желудка соприкасается с проглоченной пищей. Значит, достаточно только якобы поест, и весь механизм все равно придет в действие.

Слух об удивительном опыте с мнимым кормлением облетел весь мир. Не было человека, который не поражался бы его результатом. Вместе с тем, нет человека, который не знал бы, что значит: „слюнки текут“. При виде накрытого стола, при бряканьи тарелок, при запахе пищи голодный сразу начинает глотать слюни. И ведь это не только говорится, но и бывает на деле. Так разве это не то же самое явление, которое открыл Павлов и которое назвал тогда „психической секрецией“ (секреция — значит выделение)?

„Психея“ по гречески душа. Психология же — „наука о душе“. А так как, согласно пословице, „в чужую душу не влезешь“, то считалось, будто в этой науке нельзя пользоваться методом наблюдения. Мысли и чувства нельзя видеть, о них можно только гадать, а чем иным выражается психическая — „душевная“ жизнь?!

Существует еще одна пословица: „Людей судят по поступкам“. И верно: в поступках, в поведении сказываются душевные свойства не только человека, но и животного. В то же время каждый поступок всегда вызван какой-то причиной, каким-то внешним событием. Наблюдать же за тем, как поведет себя животное в ответ на то или иное событие, можно не предаваясь догадкам, а это и будет психологический опыт. С помощью такого опыта ученый „увидит“ душевную жизнь — проникнет в ту область, которую веками считали непознаваемой.

К этому выводу Павлов пришел не сразу. Не так-то легко отказаться от старых привычных понятий. Зато после долгих размышлений, после упорной внутренней борьбы он твердо решил: в „науке о душе“, как в каждой науке, единственно правильный и плодотворный путь — это путь наблюдения, путь фактов.

Начав свое первое научное исследование с деятельности самой большой и мощной железы пищевого тракта — поджелудочной, Павлов для своих психологических опытов избрал самую маленькую — слюноотделительную или, как он ее в шутку называл „плевою“ железку.

Как только пища попадает в рот, она тотчас смачивается слюною, без этого ее трудно было бы разжевать и еще трудней проглотить. Разная пища нуждается в разной обработке, и вот, „плевая железка“ выделяет то больше слюны, то меньше, иногда слюна бывает густая, иногда жидкая.

Этой железке величайший физиолог мира и самые талантливые из его сотрудников отдали сорок лет жизни.

Если собаке влить в рот ложку уксуса, у нее сразу же потечет очень много жидкой слюны. Так отвечает плевая железка на раздражение кислотой — надо ее разбавить, предупредить ожог, обмыть внутренние стенки рта. Это — физиологический опыт и плевая железка каждой здоровой собаки ответит на него тем же. Такой обязательный ответ — рефлекс Павлов назвал безусловным.

Тот же физиологический опыт можно чуть-чуть изменить: подкрасить уксус и так влить его в рот собаке, чтобы она видела — то кислое, что ее заставили выпить, черного цвета. А вслед затем ничем не поить животное, но показать ему черную жидкость. И что же? У собаки немедленно появится водянистая обмывающая слюна. Такой опыт — опыт психологический. Ведь собака ничего не держала во рту, уксус не ожог чувствительных слизистых оболочек, а плевая железка все-таки отвечает и отвечает так, как ответила бы на действительное раздражение кислотой. Подобный ответ Павлов назвал условным рефлексом, потому что он возник в результате известного жизненного опыта. Как только глаз увидел темную жидкость, он послал сигнал о грозящем ожоге, и железка сразу приготовилась к защите. Иными словами, черный

цвет и разъедающее действие кислоты — два разных свойства связались в одно. Если опыт с подкрашенным уксусом повторить несколько раз, эта связь окрепнет настолько, что условный рефлекс станет таким же постоянным, как безусловный.

Иван Петрович Павлов вместе со своими учениками сделал десятки, сотни психологических опытов, самых разнообразных, самых неожиданных. Так, были у них собаки, у которых бежала слюна при ноте „до“, потому что перед тем, как им давали пищу, стоявший за стенкой орган издавал именно эту ноту. Были собаки, которым перед кормлением почесывали правую заднюю ногу, и вот, почесыванье правой задней ноги, именно этой, являлось знаком для левой железки, что пора приступать к работе. У других собак подобным сигналом служила вспышка электрической лампочки. Короче, лаборатория Павлова на долгие годы превратилась в диковинную фабрику условных рефлексов. Павлов так и говорил: „Мы можем выработать условный рефлекс на что угодно“. Станок же, на котором вырабатываются рефлексy — это головной мозг, главный пост управления центральной нервной системы, главный двигатель „душевной“ жизни.

Картины, запахи, звуки — все явления внешней жизни, воспринятые органами пяти чувств, немедленно отражаются в головном мозгу. И в ответ на каждое раздражение должен немедленно последовать приказ: „Мышца ноги, сократись!“ „Слюноотделительная железа, гони жидкость!“ Эти раздражения, рождающие условные рефлексy, поступают ежеминутно, ежесекундно, они несутся непрерывным потоком. Мозг не успевает разослать столько сигналов и он посылает те, которые в данный момент важнее. Одни рефлексy заслоняют другие и вновь возникшие подчас гасят или, как выражался Павлов, тормозят старые. Однако, затормозить — не значит разрушить: однажды выработанный рефлекс обязательно появится вновь, как только исчезнет тормоз.

И вот на „фабрике рефлексов“ возник новый цех, цех „затормаживания“ — смелая попытка не только увидеть работу головного мозга, но взяться за рули управления этого самого тонкого на свете механизма.

Студенты Кембриджского Университета подарили Дарвину игрушечную обезьянку, Павлову — игрушечную собаку. Однако Дарвин не только доказал родство человека и обезьяны; величие его научного подвига в том, что он перевернул запретную страницу книги жизни — пролил свет на ту область, которая веками казалась недоступной познанию. Такой же подвиг совершил Павлов. Он не только постиг механизм одного из самых важных физиологических процессов — процесс пищеварения, но дерзнул перешагнуть ту преграду, которую веками воздвигали суеверие, тщеславие и невежество — сделал объектом естествознания тот самый мозг, который создавал и создает эту науку.

О. Кузнецова

СЛОВА

рассказывают

Когда при вас говорят: „кавалерист“ и „кавалер ордена“, вы вовсе не думаете, что это одно и то же, что кавалерист обязательно является кавалером какого-нибудь ордена.

Кавалерия — эта конница, а кавалерист — всадник, воин, сражающийся верхом на лошади. Кавалер — это бойкий мужчина, а „кавалер ордена“ — отличившийся человек, награжденный каким-либо знаком отличия — орденом.

Родства между словами „кавалерия“ и „кавалер“ как будто бы нет. Но это не всегда было так.

В других языках „кабальеро“ или „кавалеро“ означает дворянин.

В далекие времена те люди считались благородными, которые в военное время могли привести с собой в армию коня, то-есть стать всадником, рыцарем. Рыцарь, всадник, был человеком знатным, родовитым — то-есть дворянином.

А слово „кавалеро“, видимо, произошло от римского слова „кабаллюс“ — лошадь. Так испанское слово „кабальеро“ родственно слову „кавалерия“.

Рыцари и только рыцари имели право избирать себе отличительные эмблемы — „ордена“.

Так возникло представление, что рыцарь — „кабальеро“ или „кавалеро“ — это человек с орденом.

Проходили столетия. Рыцари уже перестали появляться на полях сражений. Но люди, награжденные каким-либо орденом, продолжали называть себя рыцарем, кавалером того или иного ордена.

Но к этому времени первоначальное значение слов уже почти изгладилось.

Вы знаете, что тактика — это наука о действиях в боевой обстановке.

Такт — это способность и умение ловко обращаться с людьми, вещами, понятиями, или другое значение — часть музыкальной фразы, соприкасающаяся с другими такими же частями.

Наконец слово тактильный, что значит выполняемый при помощи прикосновения, осязанием.

Эти слова обросли множеством других: „тактический“ — вежливый, деликатный; „бестактный“ — грубый, невежливый; „тактический“ — относящийся к науке тактики. Связи между этими словами уже более или менее ясны. Но между „музыкальным тактом“ и „тактическим успехом“ на войне кажется нет ничего общего. Тем более удивитесь вы, если к разбору этих слов окажется необходимым притянуть еще и слово „тангенс“ — математическое понятие. Это слово не похоже на предыдущие ни по звуку, ни по смыслу.

И все же, все эти слова находятся в родстве. Все они происходят от латинского глагола „тангерэ“, что значит „касаться“.

От слова „тангерэ“ и происходит слово „тангенс“ — „касательная“. Но причастие от глагола „тангерэ“ звучит уже совсем иначе: „тактум“ — „коснувшееся“. И от этого причастия произошли и все остальные, упомянутые вначале слова.

Теперь все уже становится понятнее. Ведь тактика — это наука о боевом соприкосновении с противником. Такт — это умение ловко, вежливо соприкасаться с людьми. Такт музыкальный — частица мелодии, соприкасающаяся с другими. Тактильный — возникающий от прикосновения. Следовательно, знание истории слов помогает выяснить связи между ними. Так, наоборот, знание этих связей помогает изучить историю не только самих слов, но порою и называемых ими предметов.

СОДЕРЖАНИЕ

Невидимка. Повесть С. Хмельницкого, С. Полоцкого и В. Воеводина. Рис. В. Конашевича	2	Погоны. Очерк М. Михайлова	19
Герой Советского Союза Матвей Ефимов рассказывает о себе	12	Вход в орду. Очерк В. Дружинина Рис. С. Мочалова . .	20
Вещи. Стих. Н. Евстифеева Рис. Т. Цинберг	13	Иван Петрович Павлов. О. Кузнецова	22
Умма. Рассказ С. Хмельницкого. Рис. И. Астапова . . .	14	Слова рассказывают	24
Находчивый силач. Рис. Г. Петрова	17	Ленинграду в день Красной Армии. Стихи С. Маршака. Рис. Т. Цинберг. 2-я страница обложки.	
О смелых и отважных:		Ленинградские дети на Большой Земле. Рис. Н. Петровой. 3-я страница обложки.	
Отвага и расчет. Евг. Федоров	18	Лыжный спорт. 4-я страница обложки.	
Три гвардейца. Л. Кронфельд	18		

На обложке рисунок И. Астапова: „Танковый десант“.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: ЛЕНИНГРАД, УЛ. ПРОЛЕТКУЛЬТА, 2.
Непринятые рукописи не возвращаются.

мех-5888

Зам. отв. ред. Н. ТЕРЕБИНСКАЯ



Ленинградские пионеры на БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ



Больше года тому назад многие ленинградские ребята были вывезены из родного города. Некоторые из них поселились в городах и селах Поволжья.

О том, как жили и работали, как учились они рассказали друг другу на своем областном слете, который состоялся в городе Куйбышеве 25 января.

Шестьдесят лучших пионеров собрались на этот слет. После доклада секретаря обкома ВЛКСМ выступили делегаты Куйбышевского детдома № 1. Они приготовили к слету коллективный театрализованный рапорт — отчет о своих делах, исполняли любимые песни, декламировали, танцевали.

— Родина воспитывает нас, растит и учит, — говорили куйбышевцы, — и мы стараемся отблагодарить ее за заботу. Наша успеваемость за первое полугодие — 95,4 процента. Мы помогаем фронту. Мы собрали тонну металлолома, триста бутылок, передали подарки в госпиталь — шарфы, кисеты, полотенца, портянки. Пионеры VI и VII классов каждый день после школы по два часа работают на заводе.

Воспитанники Сэнгалеевского детского дома прислали на слет много замечательных вещей, — они сами сделали их. Теплые суконные бурки, ботинки из кусочков кожи, шапки-ушанки, рукавицы, вязаные кофточки, рейтузы, чулки, белье, аккуратно выточенные шашки, мешочки с семенами, выращенными на участке подсобного хозяйства, снимки, отображающие разные моменты из жизни детдома: ремонт помещения, экскурсию в лес, работу на огороде, военные занятия...



Слет узнал как сэнгалеевцы обеспечили себя овощами на зиму, свежим мясом, теплой обувью.

2700 рублей отдали ребята на подарки бойцам, а деньги эти — сбор от концертов, которые устраивал детдом. В программе концертов — Бетховен, Чайковский, Даргомыжский, Глинка. Девочки сами сшили костюмы к балету Чайковского „Вальс цветов“. Прекрасные костюмы, их видели все участники слета.

О стопроцентной успеваемости рапортовали слету пионеры и октябрята Старо-Бесовского детдома. Как в Красной Армии лучшие бойцы-снайперы имеют свои личные счета уничтоженных врагов, так и здесь ребята завели свои счета полезных дел.

На одном счете записано: „Выгладила белье, помогла уборщице очистить сени от льда, подстригла одну девочку, вымыла в бане другую, расчистила дорожку к уборной, получила „отлично“ по чтению и арифметике“. У ребят постарше — дела более сложные. Ведь это они за полугодие распилили, раскололи и поднесли к печам двести пятьдесят кубометров дров, ежедневно подвозили свыше двухсот ведер воды, сэкономили больше десяти тысяч рублей на пошивке белья и верхней одежды, приняли участие в конкурсе, объявленном Всесоюзной Академией Сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, на лучшего хранителя клубней картофеля.

На слете выступали дети фронтовиков, дети героев. Они отчитывались в том, чем помогли родной Красной Армии, как старались быть полезными своей стране.



194 г.
П. АКТ №

ЛЫЖИ



Наверное вам не раз приходилось идти по глубокому снегу и вы знаете как это утомительно. Ноги вязнут, вы проваливаетесь. Начинаешь выбираться, но застреваешь еще больше...

Человек двигался бы по снегу без труда, если бы ноги, вернее ступни его ног, были устроены иначе — если бы они были шире и длиннее...

Своих ног человек изменить не в состоянии. Но зато человек может надеть, привязать к ногам, дощечки — лыжи и двигаться на них без усилий по самому глубокому снегу. Не проваливаясь и не увязая. И притом гораздо быстрее, чем обычно.

Старые предания рассказывают, что лет за двадцать до начала нашей эры армяне умели ходить по снегу в горах на круглых деревянных дощечках, которые они привязывали к ногам.

Но, конечно, эти круглые дощечки очень мало походили на наши теперешние лыжи.

Прародителями наших скользящих лыж были наверное те лыжи, которые по форме походили на наши, но только одну делали более короткой — для отталкивания, другую более длинной — для скольжения. А чтобы лыжи не скользили назад, их подбивали оленьей шкурой ворсом назад.

С тех пор как люди научились ходить на лыжах, они применяли их и на войне.

Мы знаем, что и в России лыжи очень давно начали служить военному делу. Уже в XV веке царь Иван III собрал лыжную рать и послал ее на север, завоевывать Югорскую землю. Несколько зим длился этот лыжный поход и закончился завоеванием Югорской земли. Без сомнения, люди, не умевшие искусно ходить на лыжах, не могли бы успешно сражаться на севере.

С тех пор до нашего времени лыжные отряды, если война происходит на севере, зимой, всегда находятся в войсках.

И это понятно. Ведь лыжник проскользнет там, где увязнет пешеход или всадник, или даже бронемашина. Лыжник не знает преград в виде холмов, рвов, крутых скатов. Лыжник двигается гораздо быстрее, чем пешеход.

Однажды в дни великой Отечественной войны одному подразделению надо было взять с бою деревню, где засели немцы. Путь к деревне преграждала сеть проволочных заграждений, глубокий снег, снежные обледенелые валы.

Посылать пехотинцев не имело смысла: они завязли бы в глубоком снегу, прежде чем достигли проволоки.

Но командир подразделения был отличный спортсмен и опытный лыжник. Он требовал, чтобы бойцы его подразделения совершенствовались в лыжном спорте. Он не просто учил их правильно ходить на лыжах, он обучал их ходить без палок, раскрывал перед ними все тайны своего искусства. Он знал: настанет такой день, когда искусство в совершенстве владеть лыжами понадобится вверенным ему людям. И этот день настал.

Когда стемнело, к проволочным заграждениям протянулось множество лыжней. Но чтобы не выдать себя, лыжники, одетые в белые халаты, все же не шли во весь рост. Они связали лыжи и легли на них. Отталкиваясь руками, они подползали все ближе и ближе, к самой проволоке. Обнаружить этих ползущих на снегу лыжников было очень трудно. А лыжники на таких санях-лыжах тащили еще пулеметы и все необходимое снаряжение.

Наконец все было готово. Тогда лыжники пустили дымовую завесу. Неприятель, следовательно, не мог вести прицельный огонь. А лыжники тем временем преодолели заграждение и с хода ударили в штыки. Лыжники действовали быстро (ведь они были на лыжах!), не давая врагу опомниться. Атака была так неожиданна и стремительна, что немцы дрогнули. Без лыж, увязая в снегу, они были беспомощны оказывать сопротивление и вскоре все они были уничтожены.

Но для того, чтобы сделаться таким искусным лыжником, надо много и упорно упражняться.

И каждый школьник, каждый пионер обязан в совершенстве овладеть лыжным спортом. Это его долг, как будущего защитника родины.



29
4E

3
11-754/1